



rocketbook

Валентин РАСПУТИН

ЖИВИ И ПОМНИ



1941–1945 гг. Победе посвящается

Валентин Распутин

**Живи и помни**

«ЭКСМО»

1974, 1976

## **Распутин В. Г.**

Живи и помни / В. Г. Распутин — «Эксмо», 1974,  
1976 — (1941–1945 гг. Победе посвящается)

Имя Валентина Распутина широко известно и в России, и за ее пределами - его книги переведены на многие языки мира. В его творчестве нашла отражение острейшая проблема конца XX века: разрушение природы и нравственности под воздействием цивилизации. Писатель задается вопросами о смысле жизни, о соотношении нравственности и прогресса, о смерти и бессмертии. И о том, что делает человека человеком: о мужестве и достоинстве, о терпении и вере. В. Распутин создает образы русских женщин, носительниц нравственных ценностей народа, его философского мироощущения, развивающих и обогащающих образ сельской праведницы. В повести «Прощание с Матерой» с наибольшей полнотой воплотилась русская идея соборности, слиянности человека с миром, Вселенной, родом. В повести «Живи и помни» писатель рассказал неоднозначную историю солдата, которого все считают дезертиром, показав трагичность и крайнюю степень несовершенства военного времени. Пронзительная искренность, трагизм и исповедальность прозы В. Распутина потрясают не одно поколение читателей.

© Распутин В. Г., 1974, 1976

© Эксмо, 1974, 1976

## Содержание

Живи и помни	5
1	5
2	8
3	11
4	14
5	21
6	25
7	30
8	34
9	37
10	46
11	57
12	66
13	71
Конец ознакомительного фрагмента.	75

# Валентин Распутин

## Живи и помни

### Живи и помни

#### 1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангара, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился – нет топора. Обыскал все – нет, поминай как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор – не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка – легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытием легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь шевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выпалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым, полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то», – упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как завороченная, посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега желез-

ными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веки под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинающим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена – ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то беспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, – вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустила она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашли свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени – на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурки.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше не вмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный – морозы только еще начинали сдавать, – но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полук, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпать наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопресть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в

полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задев ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

– Господи! Кто это, кто? – крикнула она, обмирая от страха.

Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

## 2

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов – не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб – и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи – стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости – многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего, – от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей – слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекечало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» – и смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

– Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил – не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаян timer, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютиная, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче: принесли свои огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена малопомалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъестись было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там,



в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотях горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду, – без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится, чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем. Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекают ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки. Характер у нее выказался несладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова – надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же, – вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а, скажем, принести с Ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить – то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба – уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маэты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить – будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом – в страх. За какой-то год Андрей полностью переменялся к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее,

сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина – она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибываясь к старинному правилу: сошлись – надо жить. Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела не много, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом сорок четвертого года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома – так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед Рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

– Какие имеете известия от сына? – строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

– Больше он о себе ничего не сообщал?

– Нет. – Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя. – А че такое с им? Где он?

– Вот это мы и хотим выяснить – где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать – сообщите нам. Понятно?

– Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

### 3

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

– Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?

– Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

– Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое исходило в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается – настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

– Искали меня?

– Милиционер недавно приезжал, и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

– Отец, мать догадываются про меня?

– Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

– А ты, значит, догадалась?

Она не успела ответить.

– Хлеб ты приносила?

– Я.

Он помолчал.

– Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю, – с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет. – Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила. – Он опять больно сдвинул ее плечо. – Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

– Понимаю.

– Ну и что?

– Не знаю. – Настена бессильно покачала головой. – Не знаю, Андрей, не спрашивай.

– Не спрашивай... – Дыхание у него опять поднялось и запырало. – Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому – убью. Убью – мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

– Господи! О чем ты говоришь?!

– Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери – к тебе. И никто: ни мать, ни отец – не должен обо мне знать... Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих. Но если ты не хочешь этим делом руки марать – скажи сразу.

– Что ты меня пытаешь?! – простонала она. – Чужая я тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубоком и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчув-

ственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами – после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала, почему сидит без движения, когда надо было бы, наверное, что-то делать – хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча – в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо, а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почти бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом, – вся эта встреча выходила чересчур неправдашной, бессильной, пригрезившейся в дурном забытии, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, на послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое похожее на ласку прикосновение; Настена вздрогнула и сжалась, по-прежнему не зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

– Как вы тут хоть жили?

– Тебя ждали, – сказала она.

– Дождались. Дождались-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступиться к нему, откуда ни возмись, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

– Может, помоешься?

– Надо помыться, – торопливо и даже как будто обрадованно согласился он. – Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

– Для тебя.

– Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

– Остыла, поди, совсем? – зачем-то спросила она.

– Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизилась к Настене.

– Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полужнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего – ни утешения, ни горечи – она не ощутила, одно только слабое и далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

– Надо было хоть белье тебе принести, – сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подталкивая себя к разговору.

– Черт с ним, с бельем, – отозвался он. – Я тебе сейчас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выпишь, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

– Живая.

– Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

– А что я ему скажу про ружье?

– Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься... Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе... Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье – мясо я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же, попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

– Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться.

– Куда ты пойдешь? – спросила Настена.

Он хмыкнул:

– Куда... Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

– Не забуду.

– И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

– Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? – неожиданно спросил он с порога.

– Радая.

– Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

– Нет.

– Кто?

– Муж.

– Вот: муж, – с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

## 4

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выхода из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно, недалек, пока не упрусь в стену, а повернуть назад уже нельзя... Ничего не выйдет. И то, что обратной дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соображать, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним случилось, злость, одиночество, обида, тот же холодный, угрюмый и неотвязный страх – многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же, где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, вернула его на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания, а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настенкой у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных, чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали, замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настенку; он не был в точности уверен, что это она, однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу – достаточно, войну не заводишь. Но знай он, что та фигура, которую он принял за Настенку, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о

котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, всюю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу, как истукан, торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим – не ему одному было тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы, – скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченный человек. Да неужели и впрямь конченный? Отказываясь, со взывавшим недобрым упрямством он вслух пообещал:

– Врете: выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж с вами-то ни черта не делается – увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошла мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня – так завтра, не завтра – так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды, еще до своего отбытия с фронта, он не уберется и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело натывался на всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроты, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней – ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался – это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей – тут уж либо пан, либо пропал, а поддержишься, побережешься – погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые

отчаянные ребята. Воевал, как все, – не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку – коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.

К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть – уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступить, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил – живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых – не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило – конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного, – лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоёвываясь. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все – плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности: раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. «Дней на десять отпустят, – определили Гуськову, – не меньше». Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они – знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, а для них – особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не цenia, не любя друг друга, – разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать – и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топаи, Андрей Гуськов, догоняя свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными – с отцом, матерью, Настеной, –



этим и жил, этим и выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад – сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей же стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу – тогда он опять готов на что угодно.

И Настену не пустил – не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал – все легче. Она бы и проводила, а когда провожают – надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах – есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве, словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек – почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали, – как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал, – и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет – туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет войны – сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

– А тебе куда? – спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

– В Иркутск.

– Вместе поедem, – обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, посадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня – не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше – дня тоже не хватит. И двух не хватит – зима. А возвращаться с полдороги – зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного – самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго – совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его – нет. «Шкура! – говорили. – Ну и шкура! Всех захотел перехитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно – вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой пронирливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза – рано утром и вечером – и приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке – кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой Бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая, душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба. Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только – чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удовольствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он не понимал. Горячась, она маячила на пальцах быстрее, торопливей – он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Оставаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот – те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня – не та, за кого она себя выдает.

Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго – застрял совсем, думал о Настене – оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай – не расхлебать, кайся – не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем неважно. Хотя на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня умирала в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога оставалась одна – домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал – не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни, добрал до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшуровал давно не троганную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходун, – то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что за Ангарой: сюда и в прежние-то годы мало кто заглядывал, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому правому рукаву.

Атамановские поля и угодья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене и по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так – Покосным – и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разорал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья, одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреевским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переправлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще – на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая беспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним случилось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и зайдет с другого конца. Надо как-то устраиваться, если хочешь жить, оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

## 5

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате – бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит – не поймаешь. Отступать было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего... Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

– Ну и на сколь?

– На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

– Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

– Какие шутки...

– А с ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

– Нету.

– Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее, – он кивнул на печку, где лежала Семеновна, – может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

– Сказали, в последний раз. Для победы.

– Для победы...

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

– Цё, цё она говорит?

– Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними! Выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее... Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской – спущенную цифру подняли, не уронили, – с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему.

– Нестор Ильич, – даже повеличала, чтобы подольститься, – кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить?

Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

– Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты – не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучками волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

– Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

– Ты только обратно ее потом отпусти. – И подмигнул Настене. – Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

...Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и, кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой; хватится – неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не страшал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

– Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там. – И попросил дрогнувшим голосом: – Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уже его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно – Михеич сказал:

– И посмотри там, дева, в охотке пороху да дробу. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

– Седни-то обратно ждать, нет?

– Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

– Но-но. Не седни, дак завтра. – И не утерпел, вспомнил: – Не могла ты вчерась с самого утра куда-нить ухлестать? Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполтину мене язык-то свой высывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с Богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уже в который раз зудила с печки:

– Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нынешним-то временам. О Гошподи! Не знают, на кого и вешаться. – Язык Семеновны звучал на свой лад. – Ить он за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

– Ладно, ладно, старая, не выдумывай, – останавливал ее Михеич. – Лежишь – ну и лежи себе, не насбирувай что попало. Нашла за кого бояться – за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он – Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей запретил даже близко намекать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу, – пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась, ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука – все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси. Карда – деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крепенской заверти давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отвертывалась. Эта быстрая, с ветерком езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике – вперед, Настена! Не бойся, Настена, – вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью, твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами – она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой – ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался – все, будто на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво – ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев – вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко – сама не думала, что так сумеет, – вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не

стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой, рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась – давно бы так – и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант – самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук – откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею – все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава Богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась как в лихорадке и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги, – и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей...

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дыма, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать, научилась воровать. А ведь это только начало – что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.



## 6

– Ну, здравствуй, что ли, – сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала открывать дверку – его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах. И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее беспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился – видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь – и зазвенит, спружинит от любого удара. Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.

– Вот, – с виноватой улыбкой снова начала она, – приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

– У меня теперь все дни черные, – впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках. Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно. Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

– Куда ты?

– Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

– Сейчас пойдем вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необходимыми словами вроде «возьми» да «подай». Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась – нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвасталась ему:

– Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать.

Он в ответ бегло кивнул.

– Это что же получается? – обиделась Настена. – Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

– Не пущу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Настена поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед, слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

– Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

– Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили – или этого мало?

Он попридержал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей, отходит – вот и голова, не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо, – верный, только ей известный признак того, что он оттаял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок – говори что хочешь, смейся, дури, все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и неохотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

– А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

– Почему чудной?

– Да какой-то... – Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. – Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной – ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

– Ну и как нечистая сила?

– Ничего. Но свой мужик лучше.

– Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

– Зачем?

– Чтобы не походить на лешего. – Он сказал и тут же одумался: – Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего.

– Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю, – спохватилась Настена. – Приехала тут разговоры разговаривать. – В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать. – Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:

– Никто, говоришь, не колошматил?

– Ну.

– Соскучилась, что ли?

– Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я счас.

– Надо хоть чаю поставить, – вспомнил он.

– Ставь – что ты стоишь, как неживой. Воды, что ли, у тебя нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним – так редко это случалось раньше, и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбегать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки – не дождешься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало, завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится – тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверное, в запыленной бутылки самогонка, ждет, когда ступит Андрей на отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею,

но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посуды – из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену – и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолке доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлечшись на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось – настолько все казалось неправдашним, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

– Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя, – неизвестно к чему сказала она. – Вот бы знали. Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола – она, чтобы подразнить его, закрыла глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

– Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.  
– Чего-чего?  
– Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.  
– Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох и дурили же они – пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытаться его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, – тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

– Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытывала неловкое и забавное чувство, будто она была не со своим, а с чьим-то чужим мужиком, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

– Покажи, где ранило-то тебя...

Он расстегнул рубашу и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

– Бедненький... убить хотели... совсем зажило, не болит?

– Сейчас уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так – будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было, и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

– Ты не рассердишься, если я усну? – слабым и счастливым голосом спросила она.

– Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее, – она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубело, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели – это от работы. От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще беспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи», – зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось невмочь, в груди быстро выстыло и опустело, жалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился – так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких теньях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом. Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезло. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты, он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку – Настена все еще спала. Не находя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, мед-

ленно кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную пустоту – это всегда помогало ему уснуть, – скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

– Так сладко поспала, – сказала Настена. – Уж и не помню, когда еще так доводилось – на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было...

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

7

– Возвернись я туда, я бы там и остался – это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так – не продохнуть. Зря это не бывает. Зря не зря – теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами – так легче было говорить – и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратиться.

– Но как, как ты насмелился? – вырвалось у Настены. – Это ж непросто. Как у тебя духу хватило?

– Не знаю, – не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает. – Невмоготу стало. Дышать нечем было – до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

– Война кончится – может, простят, – неуверенно сказала Настена.

– Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнава поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изгалялся, когда можно было жить. И правда – чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятие какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся – век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать – и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть – и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

– Ну что ты, что ты, – начала Настена, но он перебил ее:

– погоди. Начал, так dokonчу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все – хоть убей. А тут ты сегодня обогрела – впору скулить от радости. – Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. – Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

– На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу. – Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. – И ты – слышишь, Настена? – и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

– Ты что, Андрей?! Ты что?! – испугалась Настена и тоже приподнялась. Теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

– Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.

– Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь? – спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить, этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно, но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем.

– Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь. Поймешь все как есть. В другой раз я бы, наверно, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет – тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

– Ты как-то страшно все время говоришь...

– Не бойся. Я не тебя пугаю – себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

– Что мне говорить...

– Как там мать – ходит?

– Последний год с печки почти не слазит. Только когда стряпня. К квашне меня не подпускает – сама. Так и не научусь, поди, никогда хлебы печь.

– Отец все в конюховке?

– Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

– Что такое?

– Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как простая: не пожалела, чего нет. А он сном-слухом не чуял – ну и обрадовался, конечно, похвалил меня.

Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея.

– Стариков пока не бросай, – сказал он и опять затмился, задумался. – Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть.

– А как же, Андрей, дальше-то? – несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена. – Они ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война – что им потом думать? У них вся надежда на тебя.

– Надежда, надежда... – Он вскочил и заходил по зимовейке. Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки – и так же в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружались. А капитана поминай как звали. Где он? Да сам Господь Бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был – и сплыл. С кого спрашивать? Что там капитан – тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя – все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежда – сам ты, больше никто.

Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней:

– Еще неизвестно, что лучше: точно знать – твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать – чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не

знать, жить с завязанными глазами. Она и похоронку получит – не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт, товарищ, который зарывал, напишет – все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать. – Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал: – Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

– Как же я останусь?

– Еще-то приедешь?

– Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.

– Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня надолго хватит.

Настена вспомнила:

– Ой, я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала. – Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в углу два холщовых мешочка – с порохом и дробью. – Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал.

– Мне и половины за глаза достанет, – обрадованно засуетился над мешочками Андрей. – Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! – Он сграбастал ее и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал: – С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться.

– Ну тебя! – не слыша, разволновалась Настена. – Прямо сердце зашло – до чего напугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

– Прибегай, я приучу.

– Да я-то бы каждый день прибегала.

– За чем же дело?

Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска, ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл.

Они наспех попили чаю; Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, точками. Настена тихонько ахнула:

– Ой, что за чудовина такая?

– Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого – не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше чем за две тыщи не соглашайся.

– Господи, да их и в руки брать боязно.

– Бери. Больше дать тебе нечего.

Он проводил ее до дороги через Ангару, обнял в кошевке, замер на минуту и, стеганув Карьку, прыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившейся, оборванной мыслью: вот так...

...Настена ехала и плакала – до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать, – все сплошь обметало каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте – так же захолонет и запнется внутри: для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой каплей сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до костей.

Столько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли – не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы,



что хочешь, ступай куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выпрячешься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в стороне. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить вполязыка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится.

А все потому, что до поры сберег себя мужик.

Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь – отступить от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь, – без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И, может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвечающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься, а он свой, родной... Их если не Бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.

Живые там, он – здесь. Господи, научи, что делать!

Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настены – как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и этак. И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

## 8

Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к Рыбной стороне он обычно не трогал и сворачивал влево, где на добрые тридцать верст не было обжитого угла.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет.

Тайга стояла в снегу – нагрудом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла, отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже подмякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким, смоляным, исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные, белую и черную краски, когда и ель и осина кажутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо.

По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался к Ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной; когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже неизвестно почему снялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было – неизвестно, но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно и теперь: видны вырубki, поля, покосы.

По берегу снова шел – не шел, а катил – Гуськов по насту вверх по Ангаре.

Здесь таиться таись, но боясь меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался. И люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили: верховские могли считать, что палят низовские, а низовские – что верховские. Здесь, только здесь и наказал себе охотиться Гуськов.

Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через Каменный остров. На третий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится.

Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем не страшно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался – то ли от непогоды, то ли от людей. Скорей всего от людей – зачем еще, по какой надобности могла сюда занести

нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменевшей, – не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогоде – свое собственное, обложное.

И как это раньше не пришлось Андрею побывать на Каменном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, таращился на скалу, а вот заплывать не выпало. Чужой, неуютный остров с обрывистыми берегами, камень и лиственница. Не лучше, наверное, кажется он и другим.

Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного, острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне.

На мыс он утром вышел поздно: пока вскипятит чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод... Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно – может, удастся где наткнуться хоть на белку.

Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие. Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интересно, сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалилась.

Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег; глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подышающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза – они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенычи рожицы.

Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя.

Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было добротней и просторней нижнего: срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая веселая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя.

В зимовье не было печки (кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде), и, наверно, к лучшему: не удержишь, разведи он огонь, и закурится на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придется сюда перебираться, печка не понадобится, а пока он прибежал лишь на дневку и, едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпускало, припекало днями уж так, что мешал полусубок.

Скоро потечет, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки.

Андрей замечал: здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры, жил и думал, крепя и прокладывая жизнь немудреными зарубками: что делать, куда пойти завтра, как достать одно, второе, чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и эта обрубочная, теперешняя, на живот и дыхание, жизнь его устраивала. А здесь он разлаживался, разбалчивался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть, да не укусишь.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами – вдруг укусишь? – но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опомнишься.

И что было причиной этой его дури, он не знал. Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, молодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки, или что-то еще – неизвестно. Но находило, схватывало – не отодрать.

Но именно это и тянуло его сюда – как на сладкий, податный грех.

Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу.

Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел: от двери огромным прыжком отскочила и, оскалась, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. Но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый: отскочив от направленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.

Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую, на одном длинном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней – настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить – по-волчьи выть. «Пригодится добрых людей пугать», – со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов.

Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадавшись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и, словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг.

## 9

В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик – Максим Вологжин. Хотя если вспомнить Петра Луковникова, то не первый: Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после Покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стороне.

А Максим, хоть и раненный, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок на руках у баб, остальные воюют. Простая арифметика, деревня маленькая, на пальцах сосчитать можно.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

– А ну прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел.

Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому Вологжиных ребятишки и собаки, как, возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху, Нестор. От него шарахались, Карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел, но Нестора теперь было не остановить, он палил и палил, наскакивая то на один конец Атамановки, то на другой.

– Хоть так повоюет, – со злостью сказала Надька. – Генерал.

Она села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнесла:

– Не мог мой паразит живым остаться... Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? – вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением. – Наклепал ребятишек и... смертью храбрых. А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? – Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы. – Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов – и все, отжила. Пропади оно все пропадом.

Больше в тот день не работали. Прибрали отвезенный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары.

Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, прихивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отечные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене:

– Слыхала, Максим Вологжин пришел?

– Слыхала.

– Ты там не была?

– Нет.

– Надо бы сходить... может, он знает че про Андрея.

– Пошел бы ты, штарый, шам, – застонала Семеновна. – Больше надежи. Она ить и шпрошит как шледует не шпрошит.

– А что там спрашивать? Будет че сказать, сам скажет.

– Ой, да делайте как знаете.

Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего – чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

В этот год он был как раз на половине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный, когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад, за последний год он сильнее стал при-волакивать ногу, подбитую еще в первую германскую войну, но, едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходил в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал, – он, не отзываясь, кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистом, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком – это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином, и чем дальше – тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глуше и сдавленной, глаза прищурились, словно присели от тяжести, костистое лицо еще больше заострилось – так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше.

– Сходи, дева, сходи, – отправлял он Настену. – Мне ишо на конный надо.

Чтобы не идти к Вологжиным одной, Настена забежала к Надьке. Та, как всегда, воевала со своей ребятней. Во весь голос ревела, сидя на полу, видно, только что отшлепанная, самая младшая, Лидка, родившаяся уже без отца; всхлипывал возле кровати Петька; отвернулся к окну старший, Родька. Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли.

– Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее умяли, – принялась она жаловаться Настене. – Ну, не прорва ли, не прорва ли! – скажи ты мне. И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышинной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? – прикрикнула она опять на Лидку. – Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же брюхо набила, и она же еще и ревет, а я виноватая. О-е-ей! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучицы на одну квашонку осталось – и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся – и в Ангари. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они хоть бы капельку че-нить понимали. И ведь он-то, балбес, уже не маленький, – Надька ткнула рукой в сторону Родьки, – должен бы хоть немножко че-то соображать – нет, лишь бы счас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаedные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подышайте, раз так – не жалко.

– Скоро Ангара пройдет, рыбу буду ловить, – буркнул от окна Родька.

– Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом годе не проедали твою рыбу и нонче объедемся. Куда только кости от рыбы девать станем – никак не придумаю. Стой и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в Ангаре.

Настена с трудом перебила ее:

– Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно.

– А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не нагладишься.

– Не пойдешь, что ли?

– Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтоб их тут можно было оставить. Не стой ты там как истукан, – крикнула она на Родьку. – Неси дрова да затопляй печку. И не вздумай мне удрать. Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи наострить. Дома весь вечер будешь сидеть – так и знай. Чтоб никто мне из избы даже не высовывался.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:

– С тобой хочу. Возьми меня, возьми.

Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

– Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки как ребятишки, а эти идолы какие-то, наказание Божье. Ой, че с них будет, че с них будет? – кто бы мне сказал.

Настена подняла Лидку с пола и, почти не чувствуя ее тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлиывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дожидаться и самое лучшее – уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Лидка завздрагивала сильнее, и Настена отошла от девчонки.

Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабенкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая невзлюбила ее за строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье: работающий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька ни разорялась перед ним. Надоест – сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одному месту, и Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была, просто шумная: где Надька – там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались. И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку, – Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось: перегорела Надька, пошла опять на работу, пошла колотиться-молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого; свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало – ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин характер сделали их еще и боязливыми, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаясь мать, – до того сироты и пострадалицы, что у доброго человека зайдется от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сейчас, подняв плачущую Лидку в кровать, Настена почувствовала вину перед ней.

Пока она дождалась Надьку, уже смерклось, пожухший за дневное тепло снег подмерз и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер – ни голоса, ни стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому Вологжиных, откуда доносилось их бестолково-радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно прямя шаг, охваченные

общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с крошечной битвы, пришел человек, чтобы остаться с ними, – пришел как посыльный, как вестник от всех мужиков: скоро, бабы, скоро. Скоро все выяснится окончательно: одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь.

У Вологжинух былолюдно, шумно; две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он – Максим, похудевший, почерневший, с коротко подстриженной, как у арестанта, головой, глазастый, разомлевше-счастливый. Правая, забинтованная рука висела, оттягивая шею, на марлевой повязке, с левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке, шестилетняя Верка, младшая из двух вологжинских девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала:

– С возвращением!

И Настена вслед за ней повторила:

– С возвращением.

На лавке вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Максимом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла – сияло ее лицо, обычно бледное, унылое, сияли, захлебываясь от радости, глаза, сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся грудь – сияло все, сияла вся, сияла вовсю. Она усадила Настену и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептала:

– Еще утром ниче не знала. Ячмень вместе чистили. Ячмень... – Всхлипнув, она засмеялась и убежала.

Максим, улыбаясь, смотрел на них – на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую, дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил:

– Ну, Настена, когда ты своего будешь встречать?

Настена сжалась и покраснела; как можно спокойней, не сразу подняв голову, она ответила:

– Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой...

– Кто – Андрей потерялся?

– Он в госпитале лежал... тоже раненный. А после его обратно, на фронт. – Настена говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия Ивановича. – С той поры ни слуху ни духу. Не знаю... Ничего не знаю.

– Ну, найдется.

– Дак это... всерьез потерялся, – взялся объяснять Иннокентий Иванович, поглядывая на Настену. – Тут с расследованием приезжали, спрашивали. Нигде, видать, по документам не значится.

– Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо теперь не всякое до места доходит, – уверенно сказал Максим, и Настене от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем.

Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже пришлось доставать этот припас со слезами! Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи так



вышло – теперь только вспоминай, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза.

Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запевать, но его не поддерживали, на него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за курево; тут же, не подымаясь, они принимали от Лизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке – о том, как она воюет и когда можно ждать там революцию. Максим отвечал неохотно – видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца; Лиза хотела унести ее в постель, но Верка ухватилась за отца, закричала – пришлось оставить ее в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал – добро бы левая, а то основная, правая рука, без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

– А ее это... в сторону-то сдвинуть можно?

– Куда в сторону? Зачем?

– Ну, ночью-то она мешать не будет?

Максим засмеялся:

– Мешать будет, Лиза отрубит.

– Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, – ухмыляясь, заявил Нестор.

– Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли, – взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить. – Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

– Я над вами куражился? – обиделся Нестор. – А, бабы? Я куражился?

Бабы молчали.

– Слушай ты ее, – вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой, – толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же, басистым голосом.

– А че слушай?! Че слушай?! Не правда, че ли?

– Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать, – важно наставляла Василиса Премудрая. – Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

– Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики.

– Я знаю, – наступала Надька, – это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот Гаврила твой придет, я его быстренько охмутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

– Я за Гаврилу спокойная, – насмешливо ответила Василиса.

– Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

– Святой не святой, а с тобой займаться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

– Ой, глядите-ка, сравнила! – обрадованно зачастила Надька. – Я сорока – ладно, а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово знает?

– Нет, Надежда, – хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокентий Иванович. – Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлет. Сколько – посылок пять, однако, в этом году было? – обернулся он к Василисе. – Или поболе?

Та замялась:

– Я не считала.

– Она их даже не открывала, – съязвила Надька. – Вместо табуреток держит.

– А это уж не твоя забота, как я их держу.

Но Надька разошлась, остановить ее было непросто.

– Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила? – спросила она.

– Ни одной не получала.

– Я бы его после этого на порог не пустила. Че ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия? Еще и радуешься.

– А мне и не надо никаких посылок, – счастливо засмеялась Лиза. – Я сегодня говорю: давайте корову забьем. Вот тятя не даст соврать: давайте, говорю, корову забьем, чтобы встретиться дак встретиться. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст Бог, все наживем, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.

– Значит, загибла бы? – натянута, с подманкой переспросила Надька.

– Загибла бы, загибла.

– А то руки на себя наложила?

– Ага.

– Чего ты пристаешься, Лиза? – вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрогнул и раскрылся. – Это че же – значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине – всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки, – как же их-то загубить? Ты не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливается, обваливается... Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго собиралась припеваючи жить – дооставлялась. Теперь вся память-то что о войне, эту память ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло – нету.

Лиза легонько повинулась:

– Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

– Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь жить – берегись. Не пожалеем – это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноватые, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноватые? Скажи ты нам.

– Не виноватые.

– Вот. У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться, у вас все от самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у меня, у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим – понятно?

С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели:

– Ему не давали – вот этому.

– Он только пришел.

– Дядя Максим, ему не давали.

Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:

– Ты откуль здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсюда!

Родька, не двигаясь, с жадным мучительным вниманием, во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся.

– Ты, что ли, Родион? – глухо, перехваченным голосом спросил он.

Родька торопливо закивал.

– Ну, здорово, что ли. – Максим подошел к мальчишке и протянул ему здоровую руку. – Смотри, как вырос, совсем мужик. Молодец. Что ж ты так поздно? – Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребятишек, и протянул его Родьке. Тот взял. – Вот и весь гостинец, больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся. А завтра днем, будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?

Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери.

– Смотри, как вырос, – с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно.

– Они растут, – бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор. – Им и война нипочем.

– Скоро она кончится, война-то? – спросила вдруг Лиза. – Ты, Максимушка, оттуда, скажи ты нам – долго еще ждать?

– Для тебя она кончилась, – негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:

– Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь, так мне и дела больше ни до чего нету? Ты скажешь. Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видеть, а с народом.

– Скоро, бабы, скоро, – ответил Максим. – Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь добавляют.

– А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.

– Заворотят? – Максим прищурил глаза и натянулся, подавшись вперед, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось. – Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтоб заворотили, не позволим. Не на тех нарвались.

– Четыре года – куда больше? – закивала Василиса Премудрая. – И мы тут поизносились.

Надька не пропустила:

– Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

– Ох, Надежда... Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

– И нам досталось, – подхватила Лиза. – Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа – это ладно, свое. А только хлебушек уберем – уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали... А кто без ребят или у кого постарше – с тех не слазили, пошел и пошел. Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что – выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешь, а где нет. Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась – сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась – не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала – я ручьем заливаюсь, реву. – На глаза у Лизы навернулись слезы. – Она пособила мне. Пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву. – Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. – Реву и реву, ниче не могу с собой поделатъ. Не могу.

– Лиза, Лиза! – останавливая ее, позвал Максим.

– Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду. – Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место, у края застолья. – А облигации? – напо-

нила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться. – Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать – только б рассчитаться, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет. А мы тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

– Кто из нас, непонятно, – я или ты сегодня мужика дождалась? – спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька.

– Я, Надька, я. Больше не буду.

– У нас все шиворот-навыворот, – обиженно загудел осоловевший Нестор. – Что за народ! На войну мужиков провожали – пели, а встречаем – как на похоронах. Хватит нам Надьку слушать, давайте песню.

Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез голосом начала «Катюшу». Ей подтянули, и в числе первых подтянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стенки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премудрая, пел Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, вступила Надька и вдруг сорвалась, уронила на стол голову и затряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и подняла «Катюшу» еще выше, песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко, навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед Настеной стакан с самогонкой, залпом выпила и, не вытирая слез, снова запела.

Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми – как никогда раньше, Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя: не имеет права. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством – ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимание. Она уж и жалела, что пришла сюда, но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамотей, колхозный счетовод Иннокентий Иванович, старающийся обо всем знать поперед других; и уверенная в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая; и простоватая, задиристая Надька – все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя – без этого человек не живет, – то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное. Настена же таила такое, что почему-то касалось всех и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел, – против Надьки, и против Василисы Премудрой, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену; ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях.

Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину – малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше, чем надо, молилась, или меньше страдала, думала о нем? Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет – с такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается: всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше. Почему так получается? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Испокон, наверно, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу, и впустую: век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинанием, и если его не хватало, изводилась все от той же вины.

Верила и Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверно, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась: на, Настена, бери, да никому не показывай. Одна,

совсем одна среди людей: ни с кем ни поговорить, ни поплакаться, все надо держать при себе. А дальше, как дальше быть? Как его вызволить из этой беды, как жить, чтобы, не ошибаясь, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе.

Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний край деревни лежал темно и глухо. Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулок к Ангаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе: вот до чего уж дошло – раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но дышалось почему-то со стоном – жалобно и горько. Вздохнув глубоко, всей грудью, Настена приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и все смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мертвый угол, где хоронился Андрей, веря и не веря, что он тут, рядом; в какое-то выпавшее из-под ее власти, безнадзорное мгновение ей почудилось, что она только что, минуту назад, все выдумала – и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей, – выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду, и еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть.

Под своим берегом она поднялась на яр и, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой – предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее, но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.

## 10

Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангари. На Ангаре задувало во всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением, и несло тоже вниз – верховиком. По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту под-сказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать? Плунуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побежит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала.

Но удерживать было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, остальное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом – во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой: колхоз недавно расщедрился и выдал его на работников почти десять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку – на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. В фуфайке идти через Ангари было бы, пожалуй, даже удобней, но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней. Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать, но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней, вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз, какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты – женщина или нет, в какой ты поре и что у тебя на душе, – ничего не помнишь, только давай и давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты – того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрее оно убывает. А переодевшись, Настена и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковей и теплей, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ее одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, берегла и готовила себя для будущей счастливой жизни. Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет – этого она боялась больше всего. Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают своих собственных, Богом данных им чувств от чувств общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг, – видно, слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь их особой тронью – не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью: поздно – заглохло, закаменело, и сами они никого также не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя – не вспомнить, не найти.

Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час – до того не терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и принаравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит – мало ли зачем ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? Здесь, возле бани, такая густая стояла круговерть, что даже

ближние избы едва мерещились; уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести – тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесту куда по ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще просматривалась, ее заносило перед торосами, верховой же снег протаскивало мимо.

Идти приходилось низко согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело как в трубе – мощным и длинным гудом, но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше.

Откуда сорвалось? Сколько Настена помнила, никогда в эту пору так не заметало. Вот тебе и весна – март покатился под горку.

Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утартало без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все трудней и трудней. Гребни наносов нарастали и смыкались. Настена искала клочки вмерзшего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибами конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено, – по этим приметам и шла. Она устала, поначалу сдуру рванула из всех сил и быстро запалилась, тяжелая сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но оттого и мокро, слякотно, что не холодный, – неизвестно еще, какой лучше.

Всматриваясь влево, она искала остров; дотянуть бы до него – там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет, – дойдет, никуда не денется, но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащила в пургу, нисколько не жалела: ей надо было идти, может, оттого и выиграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза, – это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным.

В конце концов она потеряла дорогу и не нашла ее – все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настена решила больше забираться против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала дорогу, обидело Настену; без страха, только от обиды и усталости, она всхлипнула и зачем-то, крикнув, позвала Андрея. Глупо было бы надеяться, что ее кто-то услышит, – голос тут же скомкало и кинуло вниз.

Она еще долго шла, с трудом уже помня, куда идет, но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер, казалось, ослаб. Она остановилась и огляделась: позади несло все с той же безудержной силой, но здесь что-то мешало ветру, обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров, остров она пропустила, не заметив, – то был уже материк. Через Ангару, слава Богу, перелезла, теперь надо искать Андреевское. По тому, как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева; он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, на неширокой луговине выпрямившегося берега полоскало на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться, там по-прежнему творилось все то же.

В спину подталкивало, и она, не поспевая ногами, спотыкалась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, не захотела поднять их, оставила замерзать.

С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до Рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет: вроде благополучно перешла Ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляди почти не сделала – другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей отчего-то казалось, что все идет наоборот, шиворот-навыворот, не так, как могло бы идти. И не одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение – чем-то еще; она боялась думать, что это «что-то» есть нехорошее и верное предчувствие.

Вскоре она поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбивало дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла она к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладонью мокрое лицо и только после этого осторожно постучала в окошко:

– Андрей, это я! Андрей!

Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери, – она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала – это ее, и без того близкую к слезам, доконало: не сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть, да он, похоже, все еще не в состоянии был поверить, что это действительно она.

– Мог бы встретить, – капризно и запальчиво выкрикнула она сквозь слезы. – Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны.

– Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?!

– Откуда! Знать надо было! Откуда!

Он догадался наконец снять с нее жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно; приятно и домовито постреливали горящие дрова, да еще позванивала в окошке стеклина – единственное напоминание о том, что творилось на улице.

Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил:

– Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

– Что прибежала-то? – снова вскидываясь, передразнила она. – К тебе прибежала – вот что! Он еще спрашивает! – Уже другим, остывшим голосом она ответила: – Ничего не стряслось.

– Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя, и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась.

– Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разглядишь.

– Как крот, – согласился он, но не дал себе сбиться с радостного, счастливо-удушливого настроения и спросил: – Проголодалась, поди? Обедать будем? Или ужин скоро, я все перепутал.

– Чем ты меня, интересно, собираешься кормить? – Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать себя хозяином.

– Ущицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.

– Только я на улицу больше ни за что не пойду.



– Сиди, я сам.

Он приоткрыл дверь и, высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину – хорошего, килограмма на три, налима – и со стуком опустил его на стол.

– Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы, – удивилась Настена.

– Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.

– Ну, еще бы не фартовая, – с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.

Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел, что способен позариться на чужое, а теперь вот доказалось уже и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действительно отыскал ее в кустах, там же лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком – рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам. Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успело затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов; едва ли хозяин мог что-то заподозрить, к тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев.

Хорошо сказано – «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть, и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удовольствия надо признаваться в том, что делаешь, но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то питало. Он не доискивался, что именно: необязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче.

Уха на горячей печке забулькала быстро, и они поели, причем для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, который Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой. Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ошупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислушивалась к голосу Андрея – его ли? Искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала, – пугала и запутывала себя почему зря. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым прогорклым листом, высокий полук, куда приходилось забираться на четвереньках; Настене казалось, что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завывать.

Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в глаза, по его лицу она догадывалась, о чем он думает, здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью, а то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло Настене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях – рабочего чувства.

Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настены возмещение в самих встречах; Настена хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла; терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня, она мечтала о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, надеясь лишь, что, приди оно, оно бы в ней не обманулось.

Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое из свиданий, она не знала, и это ее тоже мучило: как можно было такое пропустить? Правда, Настена не была до конца уверена, что оно действительно произошло, но слишком многое показывало, что да, произошло – еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной.

Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла.

– Андрей, знаешь что?

– Что?

Но она передумала:

– Ладно, потом.

Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, что Андрей ест медленно – сказывалась, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

– Закрывай скорей.

– Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.

– Ага, послабже.

Он подошел и присел к ней.

– Все еще не согрелась, что ли?

– Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти пристала.

– Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.

– Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, поди, потеряли. Прибегу середь ночи – кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка... – Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза.

– Отец ни о чем таком не спрашивал?

– Нет пока. Молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется.

– Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится?

– Придумать-то придумала... – Настена поморщилась.

– И что придумала?

– А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.

Он неловко погладил ее по голове:

– Тяжело тебе, Настена?

– Да нет. – Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чистой малиновой краснотой, улыбка на нем вышла слабой. – Вот за тебя сердце болит. – Она не хотела и не стала говорить всего, что чувствовала. – А сама я что? Я дюжая, сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый Божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой.

– Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

– Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится – наотдыхаемся, успеем. Если

и тебя еще не видать – что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь. – Настена чуть помолчала, вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим словам, произнесла: – Забеременела, кажется, я, Андрей.

– Что?! – У него вышло не «что», а с охом: «Что-ох!» – Он не усидел, вскочил. – Ты это правду... правду говоришь?

– Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду. – Она отвечала по-прежнему медленно и осторожно, словно стараясь оттянуть тот миг, когда выяснится, как он к этому отнесется.

– Что ж ты молчала? – неуверенно начал он, и, пока говорил эти первые попавшиеся слова, его проняло, весь смысл случившегося дошел до Андрея и окатил его с головы до ног своим жаром. – Нас-те-на! – негромко и истово взмолился он и, обессилев, сел, схватил Настену за руку. – Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое?! Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот... Я знаю... теперь знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба... Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал – ты понимаешь? Как чувствовал. А еще, дурак, боялся. Да ради этого... – Он не вскрикивал, но выдыхал слова запаленным сухим голосом, кашляя и смеясь одновременно, глаза его разгорелись и смотрели куда-то далеко, словно пронзая стены; обращаясь к Настене, он, казалось, и не видел, не замечал ее – он говорил для себя и убеждал себя. – Это ж все – никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется... Это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачихла. А я-то думал, я-то думал: на мне конец, все, последний, загубил роду. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а! Как вышло-то! Настена! Богородица ты моя! – Он кинулся на нары и припал к Настене, обнял ее, что-то еще шепча и поводя большой лохматой головой.

Настена, обрадованная поначалу его радостью, слушала затем уже с обидой и тревогой: что ж он о себе только? А она? Какое же для нее-то оставлено место? Где оно?

Тревога и обида эти и были в ней недалеко – вот почему они поспели так скоро. Неделию назад, когда Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни, она едва не задохнулась от нахлынувших на нее – давно отринутых, оскорбленных, упрятанных – чувств: Господи, неужели?! Неужели и она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели Бог сжалился над ней и даровал ей это счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни, после стольких напрасных желаний, стараний и молитв, теперь, когда казалась потерянной всякая надежда, она каким-то чудом вздохнулась и понесла? Что случилось? Она собиралась лечь на ночь и уже задула лампу, когда ее поразило этими «неужели?», – оторопев, она присела на край своей широкой деревянной кровати, чуть отдышалась, потом плотнее задернула на двери занавеску и разделась – голой, в чем мать родила, встала у окна под луну, как нарочно низкую, круглую, яркую, и принялась внимательно, с нетерпеливой жадностью осматривать себя, пытаясь глазами найти в себе какие-то перемены. Тело ее, сильное и крепкое, полное не лишней, а своей собственной, здоровой полнотой, светилось теплой, парной белизной, подрагивало от волнения и внимания, но ничего, однако, не объяснило ей, а заметив на груди похожую на большой мрачный крест тень от оконного переплета, Настена напугалась и отошла. Она легла, но легла поверх одеяла, опустив по бокам руки, прикрыв глаза и задержав дыхание, чтобы не помешала никакая малость, и теперь уже прислушалась, напрягая внимание на одной, где-то глубоко затаившейся точке, и достала до нее – достала, отделила от всего остального, тронула, и та в ответ слабо, чуть внятно отозвалась: есть. Так ей почудилось, пригрезилось, и тело ее с той поры занялось ожиданием: правда ли есть, не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать дальше?

Действительно, как быть, что делать? Счастье-то счастье – и какое счастье! – но что с него, если взошло оно в самое неподходящее время? Где ж оно, жданное-пережданное, было

раньше, почему открылось только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя жена, неизвестно кто сегодня и неизвестно кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все сошло со своих мест и встало с ног на голову. Ей ли не знать, что ни с кем никогда, кроме мужика своего, она не бывала, а деревне известно другое – деревне известно, что вот уже четыре года она его не видела в глаза. Так ветром, что ли, надуло ей это счастье? На ветер оно бы неплохо свалить, да не выйдет, надо искать живую душу. А зачем ее искать, зачем на кого-то, невинного, взваливать грех, если его и не было вовсе? А кто есть, о том не скажешь.

Все, все перепуталось, перемешалось, а потом перепутается еще больше.

А может, ничего нет, может, попусту она мечется, зря изводится? Мало ли как случается у бабы, раз на раз, ясное дело, не приходится. А она уж в панику ударилась – может, напрасно? Как не было, так и нет. И не будет.

А что лучше – чтобы было сейчас или не было совсем? Если бы довелось выбирать – что, в самом деле, лучше? Остаться в положении или никогда его не дожидаться?

Она и побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться. И до самой последней минуты не знала, стоит ли открываться, не подождать ли до полной уверенности, пригревшись пока, приласкавшись возле него, набравшись терпения и сил. Много ей не надо – побыть возле человека, с которым она разделила судьбу, который, похоже, все дальше и дальше отводит ее от людей, оставляя только для себя. К кому же еще приткнуться, у кого найти успокоение, как не у него?

Но она открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся от радости шепот, пожалела: зря сказала. Он придавал этому такое значение, о каком она не подумала.

– А я? – приподнимаясь на нарах, спросила Настена. – Как же со мной-то быть? Я ж середь людей живу – или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, наверное, спросят, поинтересуются.

Так близко, совсем рядом был этот вопрос, но он почему-то не ожидал его. Он выпрямился и опять сел, уставившись на нее с удивленной оторопью.

– Не знаю, – пожал он плечами. – Плевать нам на все.

– Тебе хорошо плевать, ты здесь один.

– Что такое ты говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?

– Я радая, да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза ползет, откроется.

– Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись? – В его голосе была обида, он по-прежнему не хотел ничего понимать.

– Помню... как не помнить. Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя. Ничего мне больше не надо было – только бы родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостойной? Грех-то на меня ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хуже было, чем тебе, я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже рожала, ты понадеялся, взял за себя, а я – вот она какая свиристелка, полюбуйте на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла – ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангари кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война. А ты говоришь: помнишь? Кому же еще и помнить, если не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! – простонала Настена и махнула рукой, словно отгоняя от себя это лохматое неуклюжее видение. – Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет – значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или неживой. Может, твоя мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу?

Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче, хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаясь? Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет – и правильно, гляди, на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом – боюсь не справиться, Андрей.

Он молчал, тяжело, неподвижно глядя куда-то в угол. Он молчал долго, и Настене стало неловко, а затем уже и страшно за свои слова. Выходило, что она отказывалась от ребенка. А вдруг сейчас как раз то самое переломное время, когда, чуть завязавшись, он может продолжаться, а может и задохнуться. Откажешься – ничего не будет. Все от нее зависит. Будет – плохо, и не будет – плохо. Но отказываться от него она не хотела – нет, жутко, невозможно казалось ей взять на себя такую тяжесть – отречься от своих же собственных надежд; она бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело и чтобы то, что есть, ни в чем изменить уже было нельзя.

– Я не знаю, Андрей, – обращаясь к нему за помощью, виновато добавила она. – Не знаю, что делать. Растерялась.

– От судьбы, Настена, никуда не уйдешь, – отозвался наконец он. – Хошь делай-заделайся поперек ей, а она на своем поставит. – Он невесело, утверждающе усмехнулся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил уверенней и злей: – Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она. Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей свести. Ты думаешь, легко мне здесь зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют, когда я тоже там, а не здесь обязан находиться? Я здесь по-волчьи научился выть. Хочешь, покажу? – Не дожидаясь согласия, он поднялся, тяжелым шагом подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и, достав, наострив его, пустил тонкий и длинный, режущий по живому, жалобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловечий голос, прикрыл дверь и, откашлявшись, воротился обратно. – Похоже? – спросил он и сам же себе ответил: – Похоже. Знай, что это я, когда услышишь. А волков я тут давно распугал, все, наверное, на ваш берег сбежали. Ишь какую забаву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья – от другого. От веселой жизни. Что ж ты последнюю надежду от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья сюда шел? Что не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс, это все для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

– Да ведь его, может, еще и нет, – слабо возразила Настена. – Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.

– На нет и суда нет. А есть – оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сгину и ничем тебя больше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь...

– Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?!

– Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны, хошь и за тыщи верст. Неужели все вхолостую, все зря, и ничего от нашей жизни совсем не останется? Ты будешь дальше жить, ты еще молодая, красивая, но этих-то годов все равно не воротишь. Они прошли. Как бы твоя жизнь потом ни сложилась, да ведь и я в этой жизни тоже был. Куда меня денешь? Сколько баб осталось за войну с целой оравой, а ты одного не хочешь принять. Что бы ты делала, если б он раньше, еще до войны, появился?

– Я разве не хочу, Андрей? Я разве не хочу?! Я хочу. Что ты на меня наговариваешь? Зачем ты так?

– Ты не отказалась от меня, когда увидела, что я пришел с войны не тем ходом. Не выгнала, не выдала, пособила выжить – без тебя я, наверно, пропал бы. Знала, какую тяжесть на себя берешь, и все ж таки взяла, не побоялась. Кто мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья... какая семья?... так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что не совсем же зря жил. Что говорить?! У тебя была только одна сторона: люди. Там, по правую руку Ангары. А сейчас две: люди и я. Свести их нельзя: надо, чтоб Ангара пересохла. Конечно, мне легко говорить, мне пузо не таскать. Я здесь, в упряжке, отсижусь до своего часа.

– Перестань, Андрей! Хватит, не надо так.

Запал из него вышел, Андрей опустил на нары и лег на спину, сдерживая заходящееся дыхание. Но он не досказал и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова, уже спокойней и легче, зная, что главное сказано:

– Пересудов людских ты боишься... Что они тебе? Люди – как собаки: кто где не так пошевелился – они в шум. Полаяли и перестали – и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся – не без этого. Помоют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо послать. Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их – скорей уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет, и ты уж вместе с людьми окажешься. В первый раз так, что ли? За то же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут. Люди... Да доведись такое до них, неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей – себя слушай. Ты знаешь, как было. Что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то сладко разве?

– Я не жалуясь.

– Что жаловаться – так видно.

Они не заметили, как затихла хлябающая в окне стеклина, как в зимовейке сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружавшие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела.

Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтоб не выносило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестало порядочную, чуть не до стекла, завалину снега, мокрый снег налип на стволах деревьев, в низком затухающем небе все еще гнало клочья разодранных, дымных туч.

Настена, повернув голову, следила за Андреем. Он воротился и опять прилег к ней. Ничего не изменилось, но это необязательное вставание означало для обоих, что больше того, что сказано, говорить сейчас не следует. Действительно, надо подождать. Чтоб не получилось, как у той причитающей бабы: ах, если бы у меня был ребенок, да если бы он занемог... То, что нужно, Андрей сказал, Настена выслушала – и достаточно. Надо потерпеть – на днях все выяснится окончательно.

Настена облегченно вздохнула и осторожно, для себя одной, потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки. У нее всегда так: чуть растревожится, разбередится – кажется, к самой коже подступают изнутри чувствительные, болезненные наплывы, в которых отдается малейшее страдание и которые исчезают затем нескоро и нелегко.

Она все еще сторожилась, боялась, как бы он, ненароком забывшись, не сломал их молчаливую и оттого слабую, ничем не скрепленную договоренность.

Он пошевелился, и она замерла.

– Давно уж, с третьегоднего лета, помню я про тебя один сон, – неожиданно начал он и помедлил, подождал, пока она поспеет к этому повороту разговора. – Все там осталось на месте – и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали, – с чем вокруг себя лег спать,

то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок – там недалеко березки стояли – идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платышке, заморенная, босиком – ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты.

– Это я и была, – удивленно согласилась Настена. – До тебя еще, когда ты меня не знал.

И волосы как у мальчишки подстриженные?

– И волосы подстриженные.

– Я.

– Но как же? Раз я тебя такой не видывал – как ты мне в точном обличье явилась?

– Не знаю. Может, рассказывала. Но это я была, я.

– Да я и толкую, что знал почему-то, что ты. Подходит и говорит: «Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятами замучилась, а тебе и горя мало». – «Какие, – спрашиваю, – у тебя ребяташки? Откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет?» Она пошла.

– И ушла?

– Вроде послушалась, ушла. И опять стоит. И опять, как в первый раз, с той же придурью: я, мол, так с ними замучилась... Я ей посуровой отвечаю: «Иди и не приставай больше ко мне – нет у тебя никаких ребяташек». Она вроде поймет, задумается так, назад повернет. И сон-то какой-то просветный: будто я и во сне тоже хочу уснуть. А не успеваю. Глаза закрою и сквозь них вижу: обратно ко мне от тех же березок идет. И одно по одному, одно по одному. Извела она меня в ту ночь.

У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь, и, еще не понимая, что заставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила:

– А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?

– Не помню. То же самое, наверно, и сказал. А что я мог сказать?

– Мог бы пожалеть, не перечить, – вмиг осевшим, пустым голосом ответила она.

– Зачем?

– Ни за чем. Сколько ведь просила. – Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по увиденному, говорила: – У вас там еще пушки стояли. А в низинке, откуда я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежал, а рядом лежало то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего края...

Он приподнялся на локте и уставился на нее:

– Откуда ты знаешь?

– Я тоже видела этот сон. Со своей только стороны. Надо же так?! – Настена удивленно замерла и прислушалась, не подскажет ли что в ней, можно или нельзя об этом говорить вслух. Обоюдный сон – такого она, сколько жила, не знала. Обоюдный – стало быть, не простой, вещий. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой момент умолкнуть, она начала осторожно вспоминать. – А меня бабка одна надоумила. Какая бабка? – хоть убей, потеряла из памяти. Иди, говорит, к нему и скажи о ребяташках. Если признает, согласится – так тому и быть, откажется – останетесь при своих интересах. Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду, и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь: нет и нет. Я хочу намекнуть и не могу. Ты сердись на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню. Помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночьем виде, чтоб на тебя подействовать. Приходила я к тебе такая?

– Приходила.

– И что ты мне сказал?

– Не знаю. Не помню.

– Что-то ведь должен был сказать?

– Наверное, должен.

– Ишь как! самого главного-то и не узнали. – Настена не удержалась, укорила: – Что тебе стоило согласиться или на худой конец промолчать? Теперь бы все по-другому было.

– Не хватало еще верить во всякие сны, – неуверенно возразил он.

– Сон-то, сам видишь, какой. На две стороны. В одну ночь, поди, и приснился обоим. Может, то душа моя к тебе навевалась. Оттого все так и сходится. – Все еще надеясь на что-то, Настена продолжала допытываться: – И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятенком не видел? Вспомни хорошенько.

– Нет, ни разу.

– Забылось, может? Перебило чем похлеще... войной этой. Она все под себя топит.

– Нет, это я бы, наверно, не забыл. Помню же вот, как ты приходила. Два года помню.

– А конец все равно потерял? Как его теперь угадать?

– Конца, наверно, никакого не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там – хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь.

– Что-то много ты стал о судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поминал.

– Заговоришь... – Он усмехнулся, закивал себе. – Ты тоже: нашла чем попрекать. Заговоришь, когда вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от тебя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает.

– У меня и в мыслях не было тебя попрекать. Само сказалось.

Но в ноги, куда кивнул Андрей, Настена взглянула.

– А теперь она еще и тебя в упряжку ко мне подстегнула, – не то припугнул, не то пожалел Андрей. – Посмотрю я на тебя, как ты от нее вывернешься.

– Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, так вместе.



## 11

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась – нет, она нагроула еще больше, нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась – как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться. Другое дело – достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через все, что уготовано, но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от этого не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно. Да она и не хотела отступать, для Настены это было все равно что отказаться от самой себя, и Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где ее больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться, для него это теперь все равно что воздух. Что он станет говорить, нетрудно было догадаться заранее.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, интересно, он станет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?

Но это потом, потом... успеется, споется.

А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед – один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик. Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из людей – иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конечно, сейчас ей приходится нелегко, но разве лучше было коптить, как она коптила, небо и топтать одну и ту же, короткую, никуда не ведущую, ни в чем не обнадеживающую дорожку? Без милости ее, наверно, не оставят и, когда понадобится, помогут, а там еще, глядишь, и вознесут за страдания – даром ничего не дается. Она потерпит, вынесет все, что придется на ее долю, но коптить небо плюновой, ни на что не пригодной бабой она не согласна – тогда уж лучше и не жить.

С малых лет Настена, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой момент оно могло нагрянуть отовсюду, все четыре стороны для него были распахнуты. Так и грезилось: она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касаньем, зовет за собой и до поры, оставив обещание, отлетает. Так его было много, столько в нем чудилось красивой, непознанной радости, столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купаться, тратя его напропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиротою. И в то же время из какого-то приятного, сладостного ожидания хотелось оттянуть миг полной с ним встречи, потому что встреча эта все равно казалась неминуемой. Настена и замуж пошла не задумываясь, что из всех дорог она теперь оставляет для счастья лишь одну – ту, которую выбрала сама, но пока еще широкую и просторную, где есть место, чтобы разминуться добру и худу. Семейная жизнь виделась ей по-хозяйски надежной, но и работной, а в отношениях с мужем – веселой и легкой: так и будни короче, и праздники красивей. Конечно, она могла иногда от чего-нибудь скомкаться или споткнуться, без сучка и задоринки ничего не бывает, но затем обязательно выправиться и продолжаться в любви и согласии дальше; причем любви и заботы Настена с самого начала мечтала отдавать больше, чем принимать, – на то она и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную жизнь, на то и дана ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще ею пользуются. Настена верила, что и с ней так же будет, и в одном только этом она, пожалуй, не

ошиблась. А счастье... счастье, показавшись, помаячив, обнадежив в первое время, отступило затем без ребятишек куда-то вперед – там и предстояло его встретить, но теперь дорожка, на которой они могли сойтись, стала вдвое уже прежней и превратилась скорее в тропинку, хотя проглядывалась все еще ясно.

Настена никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь не одежда, ее по десять раз не примеряют. Что есть – все твое, и отрешиваться ни от чего, пускай и самого плохого, не годится. С Андреем Настене выпадали тяжелые дни, но даже и в мыслях она не переиначивала свою судьбу; поправлять наперед поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека – кто ей позволит? Пускай другие как хотят, а она проживет начатой жизнью и метаться из стороны в сторону не станет. Она дождется своего, а не чужого счастья.

На всех его, говорят, не хватает, кому повезет, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя – почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение? Для чего в таком случае ей дали жизнь, если того, ради чего она родилась, на нее же может и не хватить? Вся ее жизнь в ней, в ее сердце, душе, теле, остальное пусть и близко, рядом, но в сторонке, остальное благодаря ей только и существует, так почему же предназначенное для нее, как нарочно, должно пройти мимо и попасть к кому-то другому? Нет, так с человеком нельзя. Добро бы ей жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное, – да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой, не оставляй про запас – не пригодится.

Война надолго задержала Настенино счастье, но Настена и в войну верила, что оно будет. Вот настанет мир, придет Андрей, и все, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настена и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришел раньше времени, прежде победы, и все перепутал, перемешал, сбил со своего порядка – об этом Настена не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье – о другом. А оно, напугавшись, отодвинулось куда-то, затмилось – ни пути ему, казалось, оттуда, ни надежды.

Дальше – больше.

Неужели впрямь так до конца без него? Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение. И никакого просвета впереди, сплошь темень. Действительно, дальше – больше, сегодня плохо, завтра лучше не будет. Но ведь «больше», то, на чем оно сейчас остановилось, – это ребенок, о котором она страдала, которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой, противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло ей со спины? Какая разница? – лишь бы встретиться, не разминуться.

Но что, что ей сейчас от этого счастья?

Нет, что-то должно произойти и выправить ей жизнь, иначе недолго и рехнуться. Уже произошло: зачался ребенок. Ее заметили, ей не дадут пропасть. Если будет ребенок – что еще ей надо?! А он будет, будет, он подвигается, идет.

Теперь она знала, что делать. Ничего не делать. Пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся, оттого что порознь, не вместе, ее собственное, законное счастье.

Вот она лежит, а колобок тем временем катится все дальше и дальше.

Они лежали и говорили о чем придется, точно обкладывая то самое главное, хрупкое и ломкое, что было сказано, мягкими оберегающими пустяками. Когда лежишь, легче вести такой разговор: можно, закрыв глаза, сказать то, что в лицо говорить не решишься, можно без стеснения помолчать, можно взять и, затаившись, остаться одному, а затем опять сойтись вместе.

Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пустынный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры – неживыми, тряпичными, движения – вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились откуда-то исчужа. И сами себе Андрей и Настена виделись в этот укромный час не настоящими, чужими – настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. И они в лад его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь, как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой меньше, мог, где хотел, остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил:

– Чего бы ты от меня, Настена, хотела?

– Как – чего бы хотела? – не поняла она.

– Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать все сначала я не собираюсь. Но мне еще и, кроме того, много что от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежкой. Все, что здесь имеется, все через твои руки прошло. Мне уж совестно с тебя тянуть, только тянуть да тянуть, и ничего, ни одной крошки взамен. Кой-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я ж на полном твоём иждивении, а иждивенец-то ишь какой: он за десятерых потянет. Что там за десятерых – больше! Ты из-за него теперь людей должна бояться. Я-то боюсь, мне есть за что, – а тебе? Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться? Я знаю: ты пожалела меня. И тут, о чем мы сегодня толковали, тоже пожалеешь. Такая уж ты есть. Вот увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю – нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не сможешь. Не сможешь, Настена, вот попомни мои слова. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возьми, в сторонке, ты одна обязана колотиться. Правильно ты говорила. А что я могу? Что я могу, Настена? – подумай сама. Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить, я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи тогда, что надо?

– Что надо? Ничего не надо.

– Вот видишь, ничего не надо, – с готовностью подхватил он, словно другого ответа и не ожидал. – Ишь как: мне надо, а тебе – нет. Вот до чего я докатился: никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросят? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной – больше ничего. Ясное дело, я человек пропащий, для всех пропащий – я на это и шел, да вдруг, думаю, не для тебя? Вдруг, думаю, ты мне милостыньку подашь, найдешь хошь маломальское для меня место? – Несмотря на боль, которая была из него и его обжигала, он говорил неторопливо и спокойно; казалось, ему доставляет удовольствие издеваться над собой и терпеть эту боль. – Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасенье, да на жалости все одно долго не продержишься – тонкая она сильно веревочка, того и гляди, лопнет.

– Ты что, Андрей?! Ты что?! – испуганно перебила его Настена. – Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Ты почему такой-то? Ни с того ни с сего взял и погнал в свою сторону и меня с санок скинул. Ты уж меня-то не скидывай, не надо. Еще, глядишь, пригожусь. Я, если хочешь, хоть счас тыщу дел для тебя найду.

– Каких, к примеру?

– Для начала хоть не говорить так. Мне и вправду скоро нелегко придется, а если еще и ты не будешь верить, что мне тогда останется?

– Без меня, ясное дело, было бы лучше.

– А что? Конечно, лучше, – согласилась она. – А еще лучше мне было бы без себя. Ничего не знать, не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать – ой как хорошо, как спокойно! А

куда я себя, интересно, дену, если я – вот она? Зачем ты мне говоришь, как было бы без тебя? Я знать этого не хочу. Ты уж меня от себя не отделяй, не надо. – Настена подхватила сорвавшееся дыхание и продолжала: – Давай вместе. Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я – этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была – неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились – зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что считаешь: если б ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала: мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте – вот она я, вот как я отличилась!

– Ты бы уже не поминала такое, не сравнивала...

– А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое – плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что еще. Ты от моей вины не отказывайся, я ее все равно вижу. А если вот, скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, все бросила и уехала с ним неизвестно куда – ты бы одну меня виноватой считал?

– А кого еще?

– Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чем я говорю! Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо, легко быть вместе, это как сон: знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, – вот для чего люди сходятся. Я не могла родить – ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя...

– Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня сам закон. Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей?

– Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел – значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем. – Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: – Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя. – Настена снова умолкла и снова добавила: – Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись. Вот увидишь.

Он так ничего и не ответил.

– А мне и сейчас хорошо. Ты же помнишь: мне много не надо. Я с тобой – и хорошо, все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки: ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить, ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все, хоть ты что делай.

Чуть приподнявшись, Настена обернулась к нему, и он, не видя ее, по одному только изменившемуся дыханию почувствовал, что она улыбается. До сих пор они лежали неподвижно, с одинаково повернутыми вверх, в потолок, лицами, словно и не обращая друг к другу, словно говоря лишь для себя. Андрей от начала и до конца говорил с закрытыми глазами – так действительно было легче. Но сейчас, отвечая на улыбку Настены, он открыл их, встретился с ее внимательным, податливым взглядом и не выдержал его, отвел глаза.

– Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили? – сказал он и в подтверждение себе со спокойной и безнадежной обидой покачал головой. – Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло, – черт его поймет! Но не говорили же – ясное

дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить, поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я же тебя, выходит, как следует и не знал. В лицо разве что. Есть – и ладно, а что есть, что имею, не знал. Надо же, руку на тебя поднимал.

– Ты на меня руку не поднимал.

– Не поднимал?

– Нет.

– Не хочешь, значит, зло помнить. Ну, нет так нет. Хотя для меня, наверно, было бы легче, если бы помнила. Куда я с тобой с такой? Сильно много буду должен, а расплачиваться, сама видишь, нечем. Эх, Настена, Настена! Тебе бы не меня, а кого другого. Ты не думай: я это всерьез. Ты же вон какая! И как тебя угораздило со мной столкнуться? – не пойму.

– А мне другого не надо, мне с тобой хорошо. Я уж говорила. И ты за меня не решай.

– Ну, еще бы не хорошо...

– Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь, – досадливым и обиженным, простанывающим шепотом сказала Настена и опустила опять голову на свою подостланную в изголовье жакетку. – Где ж ты, интересно, был, что не знаешь, хорошо мне было или нет? – Он не ответил, догадавшись, что ей и не нужен ответ. – Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все. Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь – там и ладно. Я и тебя-то почти не знала, что это – два или три раза играючи встретились и так же играючи, чуть ли не в шутку, уговорились. Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Ну, не страшно ли было? – вся жизнь заново, ничего от той жизни не осталось, только я одна, да и то уж не пойму, я ли, не я ли. Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Помнишь? – так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди засмеялись, а мне тошней того, земли под собой не вижу. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой, ты говоришь: вот она, моя жена. Отец спрашивает: как зовут? Настя, говорю. Он перекроил: Настена. С той поры и пошло – Настена да Настена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь: она здесь одна – это про меня, – заступаться за нее некому, давайте не будем ее обижать. Шуточно вроде сказал, со смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо.

В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Помнишь? Заходили к Вите Березкину, к Максиму Вологжину, к другим. Я забыла тебе сказать: Максим воротился на днях. С рукой – сильно, говорит, покалечена, по сю пору на перевязке. – Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настена продолжала: – Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтобы не быть мне середь них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю и глаза вылупила: откуда, думаю, взялась тут моя знакомая? Ведь знаю же человека, знаю, а откуда, кто – не найду. А потом: Господи, да ведь не дале как вчера познакомились, ты приво-дил, а у меня без ума-то все в голове перемешалось. И так ей обрадовалась – будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел – ну, там и постелили. Мне поначалу чудно показалось, но амбар был чистый, опрятный – тот, маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. И так же вот нары – куда они потом делись, эти нары, кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты: сусек там понадобилось делать. А жалко: такие были аккуратные нары. Темно – как под землей, а пахнет деревом, стружками, там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками – как сейчас помню. Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслу-шал и захотел проверить – как закричит дурноматом! Я как вскинусь! – Настена засмеялась – негромко, ласково-бережно пролился ее смех и затих. Она легко вздохнула. – А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой она стороне, да и только. Ты до обеда валялся и про

жену свою молодую забыл. Я сходила на Ангару, посмотрела огороды – и тот, и другой. За стол без тебя не сажусь, жду. Мать не вытерпела, подняла тебя. Все вместе, помню, пили чай с калачиками – отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили – ты говоришь: собирайся. Куда? На кудыкину, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши – все кругом показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воротились – сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз женился. И Витя опять там был, и Максим Вологжин. Витю убили – знаешь, поди? Знаешь, я писала. А что у Надьки уж без него девчонка родилась – не помню, писала, нет ли. Теперь их у нее трое, мается она, мается. А куда денешься?

Настена скосила глаза влево, где лежал Андрей, – он был как каменный, не показывал себя даже дыханием, и она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. С Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь другим Настена не хотела. Она и не могла бы, наверное, это сделать. Воспоминание все еще стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его, продолжать дальше. То, на чем остановилась Настена, наплывало совсем близко, словно пытаясь подхватить ее к себе, наполнить собой и направить вперед. Так действительно хорошо там было, так счастливо и отратно, сколько там было обещано! И все-таки Настена уняла это воспоминание: достаточно. Наполняясь уже новым видением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила:

– А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?

На вторую зиму, как сошлись они, Андрея послали от колхоза на курсы счетоводов. У него было шесть классов, все-таки грамота, поэтому его отговорили от трактористов, куда он было нацелился, и направили в счетоводы. Тоже уважаемая, заметная работа, хотя и не такая, как на тракторе, зато постоянно дома, на одном месте, а свяжись с МТС, месяцами будешь пропадать на чужих полях да в чужих людях. Это и остановило Андрея, когда пришлось выбирать.

На Новый год он приезжал и прожил дома до Рождества, а в феврале снарядилась к нему Настена. Ехать до райцентра надо было семьдесят верст, с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошевке Иннокентий Иванович, Василиса Премудрая, которой приспичило за чем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с Настеной, коротая дорогу, бормотали о чем придется, Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово – что золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настены и дел-то было – Андрея повидать, а на это хоть сколько дней заказывай, все равно мало.

Андрей квартировал в подслеповатой избенке на берегу речки, недалеко от устья в Ангару. Старуха хозяйка не обрадовалась Настене, а еще больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате, пожилой уже, угрюмый мужик с корявым оспяным лицом и в очках с разными – одно много темней другого, – похожими на шоры, стеклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся, не сказал ни одного приветчающего слова. Андрей посуетился, посуетился и повел Настену ночевать в Дом колхозника.

Еще раньше, надумывая ехать, заимела Настена маленькую надежку, в которую она и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком. А уж Андрею ее она бы ни за что не выдала. Ей возмнилось, что если она не умеет забеременеть дома, то, быть может, удастся это сделать здесь. Дома они привыкли, притерпелись друг к другу, а здесь все будет внове, и это вполне может сказаться.

Не зря говорят, что самые скорые, самые цепкие дети – подзаборные, они только того и ждут, чтоб о них забыли, и тогда-то вот они: привет от папы! А у Настены все было бы по чести, по любви, с одной лишь поправкой: далеко от дома и, значит, от неудачи. Она не верила, что от этой ее выдумки что-нибудь получится, но чем больше не верила, тем больше подталкивала себя к ней и ждала проверить.

– Помнишь, утром ты не пошел на свою учебу, прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную – тут же, через дорогу. Там еще стоял на столе прямо огромный самовар, я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли запаять, не знаю. И вот она, тетка, что чай разливала, в стакан тебе из той тарелки – р-раз! Ты заметил. Нет, говоришь, давайте из самовара. Она заспорила: мол, это и так из самовара. Нет, это накапало, ты говоришь, это уж не чай, а ополоски. Никакие не ополоски. Ополоски. Она все ж таки уступила, дала из самовара. Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахара. Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяжные – съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает. – Словно вызывая в себе ту незабываемую приятную сладость, Настена причмокнула языком и облизнула губы.

– Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе – где ты квартировал. Турсука твоего, который в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться – сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно не идет. Тогда ты придумал, как отослать ее: дал денег, чтобы она сходила в магазин за четушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась. Вот за четушкой, говорит, так и быть, сбегаю, а больше никуда бы с места не стронулась. Бегом-то, ты ей говоришь, не беги, успеешь. Я-то, она говорит, успею, а вот ты, касатик, все-таки крючок на дверь накинь, чтоб мне по-культурному в свой дом прийти.

Настена засмеялась – тепло, притаенно, не вздрагивая телом, будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось.

– А потом мы с тобой весь день ходили, ходили – где только не побывали, – опустив опять до шепота голос и растягивая слова, продолжала она. – Ты от меня никуда, и даже радый был, что вместе, я же видела, что радый. А уж я-то, я-то до чего была радая! Зимой, в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, зачем? На словах разве объяснишь? У меня и заделья никакого к тебе не было – приехала, и все тут. Нагрязнула – куда тебе с добром! И пошла гулять-разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели! – вдруг воскликнула, почти выкрикнула она. – Помнишь? Кино смотрели! Ишь что из памяти чуть было не выскочило. Совсем закоулочная какая-то сделалась память: главное не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать – так даже Василиса Премудрая разговаривалась. А сидели мы с тобой на самом заднем ряду под окошечком, откуда киношный свет идет. Под конец ты ко мне привалился и шепчешь: может, не поедешь завтра, может, еще на денек останешься? Я головой мотаю, а слезы так и катятся, так и катятся: сам позвал остаться, сам. Сердце выскочить хочет...

А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то – умора. До того как проводить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли – она говорит: давай еще, касатик, на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке, а я, говорит, у подружки своей заночую, мы с ней возле четушечки вместе погреемся. Ты дал – отчего не уважить старуху? Она пропала, а вскорости, мы еще подумать не успели, чтоб ложиться, она обратно: магазин, говорит, закрыли, а без магазина к подружке идти незачем. Ты тогда сам побежал, где-то раздобыл – спровадил старуху. А потом оказалось, что и турсук твой надутый тоже не пришел, где-то пристал на стороне. И мы с тобой всю-то ноченьку одни барствовали. Ох, Андре-е-ей! А ты говоришь: хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь?! Господи! Сам подумай. Что мне еще надо?

Но Андрей уже не слышал и не понимал ее. Следя поначалу за воспоминаниями Настены, он испытывал сладкую и щемящую боль, все сильнее и сильнее подступающую к сердцу, – боль оттого, что все это действительно когда-то было, он тоже помнил все это, но как-то сухо, смутно, бедно и торопливо, словно это было и не с ним, а с кем-то до него, с кем-то, кто

отдал ему свою память. Что теперь делать с ней, он не знал. Она, живая и пытливая, ничего, кроме страданий, доставить ему не могла: с его собственной памятью она не уживалась. Они отказывались понимать друг друга; в одной посудине они умудрялись занимать совсем разные места, не мешаясь и не переступая установленную границу. Но его собственная память была злей и сильнее, она, когда хотела, брала верх.

Так случилось и на этот раз. Настена с тихим волнением говорила, он, не отвечая, слушал, то поспевая за ней, то не поспевая, задерживаясь на своих подробностях; он хоть и шел вслед за Настеной по проложенной, проторенной дорожке, а все равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведет. И когда настигло его собственное воспоминание, он не удивился – так и должно было случиться, он словно поджидал его, надеясь скорей отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настене.

Оно, воспоминание это, началось ни с чего, с какой-то тонюсенькой паутинки, которую он неосторожно перекинул вперед и которой оказалось достаточно, чтобы перед Андреем возникла, а потом и навалилась другая картина. Она стояла ближе к сегодняшнему дню – сил, чтобы отказаться от нее, у Андрея не было. Это последнее, относящееся к войне воспоминание всегда являлось неожиданно и властно, держало долго, безжалостно, до содрогания, до ужаса четко высвечивая каждую подробность, – множество раз уже Андрей Гуськов вынужден был переживать одно и то же, одно и то же. В сущности, с того, что произошло тогда, и перевернулась его жизнь: он попал сначала в госпиталь, а затем прямой дорожкой сюда.

...Теплым летним вечером, отстрелявшись в артподготовке с закрытой огневой позиции, собирались переезжать на новое место. Связь с наблюдателями давно свернули, справа батарея уже снялась, слева еще копошились. Особенно не подгоняли. С гаубицы, в расчете которой воевал Андрей, успели все же снять прицел, свести и замкнуть станины и теперь возились с чехлами. Сзади, из-за горбатого, тронутого редким леском увала, взывали один за другим моторы тягачей, две машины, болтая расхлябанными кузовами, уже ползли к орудиям.

Моторы тягачей и приглушили, видимо, гул танков. Настолько внимание людей было расслаблено сборами и переездом, настолько притупилось у них чувство опасности, что, быть может, и слыша, выделяя густой чужой рокот, они не обратили на него внимания. И когда на гору впереди выкатились немецкие танки и, только на мгновение притормозив, справившись с минутной растерянностью, покатались вниз, – это было как наваждение. Откуда? – впереди свои! – откуда? На одной и другой батареях послышались крики, замечались расчеты, срывая чехлы, разводя станины, опуская и разворачивая стволы орудий. Андрей (он был заряжающий) бросился к снарядному ящику, когда его оглушило и кинуло на землю, – падая, он словно бы и с закрытыми глазами видел, как медленно плывет, прокручиваясь, приподнимаясь вверх и снова опускаясь, колесо соседней гаубицы. Осознав, что жив, Андрей прыгнул вперед и подхватил ящик.

Танков было пять. Но один с левой, первой по номеру батареи успели подбить, он горел. А вторая, где был Андрей, не сделала еще ни одного выстрела. Что-то надсадно и хрипло кричал командир, но что делать, ясно было и без команд. Танки сползли с горы и разделились: две машины двинулись на первую батарею, две на вторую, причем они хитро выходили на линию между батареями, чтобы артиллеристы били друг по другу. Но раздумывать об этом было некогда.

Один только выстрел и успела сделать первая, основная в батарее, гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов.

Потом рядом с ним хрястнуло с мгновенным дребезжащим звоном, и он, как казалось ему, кувыряясь, полетел в сторону.

Откуда-то издалека-издалека звучал голос Настены, звучал протяжно и ласково и знобил Андрея своей интонацией. Слов он не различал: в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему, в глазах короткими повто-



ряющимися вспышками мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса черной, пропоротой не закрепленными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Коротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот, вскинутый взрывом в воздух чехол ствола – и все это под нарастающий, увеличенный страхом лязг гусениц.

И вдруг голос Настены исчез. Еще не очнувшись, не вернувшись из своего последнего боя, Андрей осторожно обернулся и увидел в глазах Настены совсем другое – в ее глазах было тепло от ее собственного воспоминания. Не выдерживая больше, Андрей ткнулся головой в ее грудь и застонал.

– Андрей, что ты?! Что ты?! Что с тобой?! – испугалась она.

Он чуть было не всхлипнул, но удержался.

– Ничего. Ничего, Настена. Ты здесь, ты со мной.

Но он все еще боялся, что только что привидевшийся ему бой и есть настоящее, и продолжал озирааться.

– Что ты подумал? – Настена стала руками ласкать его голову, но говорила о своем: – Дурачок ты, больше никто. Выдумал что-то. Это, может, тебе со мной плохо, а про меня не говори. Мне всегда с тобой хорошо, всегда – так и знай. Я и подумать не смею, чтобы я без тебя жила. Как это – без тебя? И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом все тише, тише – значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всем солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя, – делала как могла, да и все, никто не научил, не подсказал. И ты молчал. Ох, Андрей, Андрей...

Он обхватил руками голову и, быстро двигая ею из стороны в сторону, словно пытаясь сорвать непосильную тяжесть, простонал:

– Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настена?! – И, убрав руки, повернул лицо к Настене. – Не ходи больше ко мне, не ходи – слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу.

Настена растерянно замерла.

– Нет уж, – остановила она. – Ты уйдешь, а я? Что со мной будет – ты подумал? Куда я со своей виной? – на люди не понесешь. Давай уж вместе. Погодим, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война – посмотрим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду – сначала-то я пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. А если правда ребенок? Ты же один только знаешь, что это твой ребенок – не чей-нибудь. С кем мне еще поговорить, душу облегчить... я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдешь?

Не отвечая, он не сразу, но помотал головой.

– И правильно, правильно, не надо. – Она вздохнула и, чуть помолчав, обернулась к нему. – Темно-о-темно. Я уж и забыла, что надо идти. Вставай, Андрей, пойдем, ты говорил, что проводишь. Пойдем – все больше вместе побудем. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал как знал.

В темноте не видно было, как по щекам ее текут слезы.

## 12

Через три дня после этой встречи, как только нанесенный ветром снег согнало до старой корки, Андрей Гуськов собрался в Атамановку. Его давно уже подмывало походить возле деревни, но он все удерживался, боясь какой-нибудь случайностью или неосторожностью выдать себя, а теперь, после разговора с Настеной, после того, что он узнал от нее, сдерживаться больше стало невозможно. Удивительное дело: он теперь и чувствовал себя гораздо уверенней, словно получил вдруг какие-то особые права на свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегавшей его опасностью. К тому же потеплело, весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати, а чуть промедли, погоди он, и станет поздно.

На исходе ясной и звездной, уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через Ангару, обогнул с нижнего края деревню и поднялся в гору. С этой стороны свою Атамановку он, как вернулся, не видел, и она показалась ему еще меньше, чем была. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы избы – с присевшими и разномастными (где со ставнями, где без ставен), похожими в эту пору на заплатки окнами, с чуть не достающими до земли крышами, с растянутыми на стороны неуклюжими заборами – и едва узнавал их. Гуськов наизусть помнил, где чья постройка, и все же, вглядываясь в них сейчас, чуть не перед каждой терялся: вроде та и не та – по месту, конечно, та, а по виду не понять. Или это оттого, что еще не рассвело как следует и воздух был мерклый, мутный, или впрямь так постарела за войну деревня без мужицких рук?

Он долго пропускал свою избу и нарочно не смотрел на нее, чтобы до того хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она видится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось: за те годы, что он здесь не был, а особенно за те месяцы, когда, находясь рядом, он приказывал себе не знать Атамановки, он во многом успел и разниться с ней. Ничего не поделаешь: деревне оставаться здесь, ему бродить где-то там. Вместе им не жить, ему не бывать даже в ней похоронену – значит, нечего понапрасну и томиться, надирать душу, исходить бесполезной тоской. Порой, натываясь взглядом на виднеющийся из-за Ангары край Атамановки, Гуськов как бы лениво и неряшливо, с какой-то даже издевкой к себе принимался вспоминать: что ему там надо было? Что-то когда-то надо было, а что именно – забыл.

Изба, где он родился и вырос и где жили его самые родные на свете люди, стояла как раз напротив, в нижнем порядке улицы. Наконец, подготовившись, напрягшись вниманием, Гуськов перевел на нее глаза: те же самые три окна, обращенные в нагорную сторону, на него, тот же покосившийся левый передний угол (отец говорил: изба в хозяина – хроменькая), те же добротные, как пристрой, бревенчатые просторные сени, на односкатной крыше которых навалено всякое хламье. Изба была крепкой, не знающей веку, но в свое время недосмотрели и дали осесть углу, как раз в то лето, когда начаться войне, и собирались после покоса собрать мужиков на «помочь», чтобы одним махом, не копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили!» А теперь старику, конечно, и думать об этом заказано. Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождетсЯ доброго хозяина. А что? – отцу с матерью долго не продержаться, а Настена... Настена едва ли здесь останется, а если и останется, то не одна.

Гуськов изо всей мочи всматривался в окна, словно надеялся увидеть сквозь них то, что делается внутри. Правое крайнее окно – в куть, сразу за окном курятник, напротив – русская печь, на которой днюет и ночует в последнее время мать. Печь еще не растопили – дыма нет. Но вот-вот поднимутся; мать окликнет Настену, та возьмется за лучину. Настенино окно – крайнее слева, у покосившегося угла. Сейчас ее последние минуты во сне, она лежит на спине с вытянутыми ногами, обхватив руками живот, – эта привычка, если правда, что Настена понесла, ей теперь пригодится. Вот как, оказывается, задолго, за многие годы наперед готовится человек к

тому, что в нем быть: Настена еще до войны без всякой причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой живот – и вымолила, выласкала. Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда, сегодня Настена подаст ему знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но Настене неизвестно, что он здесь, поблизости, и ждать его ночью в бане она не станет, он сказал только, что выйдет на Ангару.

Представив, как Настена лежит сейчас в постели – обмершая, распростертая и теплая, собрав на животе рубашку, с чуть припухшим и побледневшим за ночь, слегка подрагивающим, словно сияющим что-то вспомнить лицом и распущенными волосами, – представив себе сейчас Настену в ее последнем утреннем сне, Гуськов замер, и какой-то маленький тоненький пузырек, лопнув, простонал в его горле. Вздохнув, Гуськов перевел взгляд на амбары, стоящие слева одним рядом, – того крайнего ко двору, о котором говорила Настена, вспоминая о первой их ночи, отсюда было не видно. Но, вспоминая об этом, Настена сказала не все – она не сказала, что петух, всполошивший ее, показался ей тогда дурным предзнаменованием, от которого она долго не хотела отказываться. «Дурное и дурное», – повторяла она, а он, Андрей, пытался успокаивать: «Слушай ты петухов, верь им побольше, они тут каждую минуту орут».

Утро наконец полностью высвободилось, посветлело, и деревня приподнялась с земли, подступила ближе. Из труб поползли дымы, послышались слабые, еще полусонные, неясные звуки. Поднялась и Настена: окно, что напротив печки, занялось прерывистым алым мерцанием. Мелькнул, открываясь, угол двери, кто-то вышел, но забор мешал видеть – кто: Настена или отец? Настене пора идти к корове, но отец, наверное, еще до дойки задает скотине корм, а может, и это теперь легло на Настену – кто их там знает! А вдруг мать, взбредившись каким-то беспокойным чутьем, из последних сил выбралась на улицу и стоит, ждет, что ее позвало сюда и что и куда подвинет дальше? Неужели мать совсем, ну совсем ни капельки не чувствует, что он здесь, рядом?

Он стоял, смотрел, припоминал, но все как-то легко, без волнения и боли – или они еще не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не доведется так стоять, и хоть бы хны. Там изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, чтобы пусть разок напоследок, пусть одним глазком взглянуть на свою Атамановку, ради этого, можно сказать, и шел сюда – и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все выгорело дотла?

Чтобы проверить себя, он перевел взгляд на избу Вити Березкина, своего товарища и одноклассника, который остался под Москвой. Знакомая изба – тоже вон пустила дымок, в ней теперь Надька с ребятами. Андрей помогал Вите перевозиться сюда с верхнего края, когда Витя отделился от матери. А что было особенно перевозить? Запрягли коня, сбросали на телегу два или три узла, кровать да деревянный топчан – вот и все хозяйство. Лавки, стол сколотили уж здесь, инструмент брал из дому Андрей. Что-то смастерили не по Надьке, она разворчалась – тогда ее вдвоем, как Надька ни верещала, как ни отбивалась, затолкали на крышу и, посмеиваясь, слушали ее рев оттуда на всю матушку-деревню. За то, чтоб снять, требовали бутылку и добились: обещала. Ничего другого Надьке не оставалось – прыгать она боялась, а лестницы не было.

И вспоминалось тоже легко, легко и живо – потому и всплыло поперед всех именно это воспоминание. Но Андрея насторожило, как близко и точно представился ему сейчас Витя: лицо, голос, походка, жесты – все. Словно только что стоял рядом и отошел на одну минутку. «Интересно, – подумал Гуськов, – его нет, а я вижу и слышу его как живого. Кто тут постарался – Витя или моя память? Видит ли кто-нибудь так же хорошо, скажем, меня? Я есть, я должен лучше видиться людям, живой – живым! Нет, тут дело, наверно, в другом, – остановил он себя. – Витя исполнился, дошел до конца, все знают, что с ним случилось. А что с тобой – никому не известно. Люди уже сейчас избегают тебя вспоминать, у тебя нет пристанища, откуда могут

пойти воспоминания, ты и живой для них стерся и растаял, как прошлогодний снег. А потом: память о человеке, которая идет к людям, наверняка знает себе цену, поэтому память о тебе вечно будет стыдиться и прятаться, как прячешься сейчас ты. Не надейся, ни на что не надейся – тебе и тут ничего не светит».

Он и размышлял спокойно, пропуская мимо сердца то, о чем думал. Нет так нет. Когда он умрет, ему все равно будет, что станут говорить о нем люди. Там от этого кости не болят, там все в одинаковом положении. Внимание Гуськова по-прежнему было занято своим домом, с которого он старался не спускать глаз. И отца он увидел сразу. Ему показалось даже, что он слышал, как скрипнула калитка. Отец прикрыл ее за собой и, задержавшись, внимательно посмотрел в гору, где стоял Андрей, будто догадываясь, что он там стоит, затем своей обычной прихрамывающей походкой пошел по улице вправо, пуская не то парок от дыхания, не то дым от курева – издали было не разобрать. «Вот он – мой отец, – с какой-то стылой, неповоротливой мыслью замер Андрей. – Это он». Он глядел в спину отца, в спину, которую тот все еще прямил, отказываясь сгибаться по-стариковски, и чувство растерянности и пустоты все больше и больше охватывало Андрея. На полдороге отец остановился и согнулся, переломился в пояснице, дергаясь головой, – он, видно, кашлял. И опять Андрею почудилось, что он слышит этот кашель, что тяжкие, надсадные звуки достают до него. Направившись, отец захромал дальше и через минуту исчез за углом избы-читальни.

Андрей постоял еще, бессмысленно глядя перед собой в землю, и вдруг сразу, как спохватившись, быстро, чуть не бегом, кинулся в гору, потом, когда деревня скрылась, повернул вправо и все тем же скорым, торопящимся шагом пошел через лес, пока не наткнулся на дорогу. По ней он опять спустился вниз, возле густого молодого ельника, который огибала дорога, оставил ее и двинулся напрямик. И только по выходе из ельника, когда стали открываться постройки, он придержался – перед ним лежал конный двор, верхняя изгородь которого подступала вплотную к лесу. Здесь Андрей должен был увидеть отца ближе.

У них с отцом не существовало каких-то особых отношений – ни плохих, ни хороших, каждый, можно сказать, жил сам по себе. В детстве, правда, отец приглядывал за ним, но только приглядывал, почти не вмешиваясь в его занятия и заботы. Сыт, обут, одет – справлен во всем, что требуется от родителя, – и достаточно, а к жизни пусть приучается самостоятельно, на то он дал ему голову и руки. Он не поучал сына и не воспитывал, да он и не знал, что такое воспитание, с чем его едят; жизнь, считал он, любого обротае и воспитает, сделает из него то, на что он годится. Надо было – одергивал, нет – оставлял в покое. Если Андрей спрашивал что – объяснял, причем объяснял обстоятельно, радуясь, что сын интересуется, а он может показать и рассказать; если видел, что тот тянется к чему-то полезному, – потакал, подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам, пусть до всего доходит сам, крепче выйдет учение. Лишь однажды, сколько Андрей помнил, отец помог ему разобраться, что хорошо и что плохо; когда, напакостив, Андрей свалил вину на соседского Мишку, отец снял с крюка ременные вожжи и молча поучил – лишь однажды.

Поэтому с отцом было легко. Он не ласкал, но и не кричал, не ярился, как мать, у которой часто случались неожиданные перепады в настроении: сегодня она одна, завтра – совсем другая. К отцу Андрей в любой момент мог идти смело, а к матери прежде присматривался: какая там нынче погода? Мать была из низовских, из-под Братска, где цокают и шипят: «крыночка с молоцком на полоцке», «лешу у наш много, жимой морож». На Ангаре всего несколько деревень с таким выговором и с красивым, как на подбор, рослым и работающим народом, особенно женщинами, – откуда тут взялась эта порода, никто не знает. Выше и ниже этих деревень говорят нормально, а тут почему-то иначе не могут, словно у них как-то по-своему, по-особому подцеплен язык. Для постороннего уха он, конечно, кажется непонятным, диким, к нему надо привыкнуть. Над матерью в Атамановке до старости подсмеивались, передразнивая, а она злилась и не умела скрыть свою злость, а потому сторонилась людей, старалась оставаться одна. Но

матери и кроме того было чем подпалить свое сердце: Гражданская война начисто искоренила всю ее родню – отца, мать, трех братьев – всех. Младший брат, когда-то служивший у Колчака, чтобы спастись от партизан, прибежал к сестре в Атамановку, но его достали и здесь. Это было, похоже, самое первое, изначальное, смутное и обрывистое воспоминание Андрея, которому тогда исполнилось лет пять, – воспоминание о том, как чужие бородатые люди увели, вытащив из подполья, дядю. Мать потом всю жизнь корила отца за то, что он не вступился за ее брата. Отец отмалчивался: сам он, вернувшись с германской покалеченным, умудрился больше ни под чьим ружьем не ходить. В колхозе с первого дня, как вступил, он пошел на конный.

Коней отец любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту скотину, как его отец. Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чужому догляду, когда повел со своего двора на общественный три, если считать с жеребенком, лошадиных головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у мужиков отодрал чересседельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле, с разорванными в кровь губами, запаленного жеребца по кличке Гром, – отодрал как миленького, и никто не посмел его остановить. Причем и жеребец-то до колхоза был Несторова старшего брата Ульяна, убитого впоследствии в финскую войну; потому, может, Нестор и гонял его как хотел, что считал жеребца своим, но отец не посмотрел ни на что. Он сердился на людей, которые брезговали есть конину, доказывал, что из всех животных эта – самая чистая, однако сам он ее тоже не ел: не мог. Из любви к коню, из сострадания к нему, пусть даже и забитому, не мог. Он говорил: «Умирать стану, а коня и человека в рот не возьму». Под Сталинградом, спасаясь от голода кониной, Андрей часто вспоминал эти слова и пришел к выводу, что в его положении отцу не доводилось бывать, иначе он поостерегся бы так высказываться. Там однажды случилось им рубить на мясо и варить издохшего коня – и тому были рады, да еще лезли за ним под пули.

Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хомутарки отец. Посреди двора на старом месте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева корыта, рядом с ними с задранной, по-пушечному нацеленной на Ангара бочкой торчала водовозка. Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями летние одры и ходки, заваленные березовыми заготовками и гнутьем, справа за конюшнями начинался загон, там шевелились конские спины. Ничего тут за эти годы не изменилось, может быть, только постарело. Двор от сенной трухи и шивяков был грязно-рыжий, мягкий, от него, перебивая придых мороза, уже с раннего утра несло густым, настоявшимся запахом оживающей прели и воню; Андрей втягивал его и, отвыкнув, задышался, но задышался с удовольствием, с хмельным, веселым желанием угореть.

Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок – сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стригунок, наверно, не станут портить, оставят на развод – уж больно заглядистый был подросток. Но и любопытный: сумел как-то учуять Андрея и, подойдя к изгороди напротив и просунув между жердями голову, уставился на него долгим изучающим взглядом. Андрей пугнул его – стригунок отскочил, оглянулся на конюшню – здесь ли, и снова перевел глаза на чужого, подозрительного человека. Так потом и не забывал: покопается в трухе – и посмотрит, покопается и посмотрит.

Андрей находился в каком-то блуждающем, неразборчивом до растерянности, до провалов в памяти состоянии: то не мог понять, почему он прячется в лесу, когда нужно сделать всего несколько шагов, перемахнуть через прясло и выйти на свет, взять и выйти – чего он ждет? То, спохватившись, что выходить ни в коем случае нельзя, не мог, наоборот, взять в толк, откуда взялся перед ним этот знакомый по прежней, прожитой и законченной жизни уголок, если он, Андрей, давно состоит в другом мире. Откуда? Примерещился, наворожился? Зачем? Кому это надо? Что между ними общего? Как он сюда попал?

Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец, и вдруг увидел его с кобылой в поводу: отец выводил ее из конюшни, кобыла была жеребая, на последних днях, бока ее раздулись, живот прогнулся, ступала она тяжело и осторожно. Внимание Андрея прежде обратилось именно на кобылу, она его поразила больше всего. Он и сам не сумел бы объяснить почему: или давно не видывал жеребых и забыл, как они выглядят, забыл даже, что они могут быть на свете, или обрадовался удачной возможности не смотреть сразу на отца во все глаза, а, держа его вполвида, привыкнуть и лучше подготовиться к встрече. Отец вывел кобылу и, остановившись, обошел вокруг нее, решая, наверно, надо ли ее прогуливать, потом снова взял в повод, и они тронулись дальше. Вдоль нижней изгороди они дошли до угла и повернули в гору – туда, где стоял Андрей... Он всполошился, заметался, не зная, оставаться на месте или отступить в глубь ельника, и в конце концов остался, понадеявшись, что ветки прикрывают его хорошо, но на всякий случай присел.

Провожая его на фронт, отец при последнем прощании дрогнул, сорвавшись, спросил кого-то: «А суждено ли нам увидаться-то, суждено ли?» Он представлял себе только два пути: или увидеть им когда-нибудь друг друга, или не увидеть. А то, что один из них может увидеть второго, а второй первого нет, ему и в голову бы не взбрело – слишком простая для этого голова. А так, именно так оно сейчас и происходило. Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой шапке с подвернутыми наверх ушами и в ичигах. Шел он медленно и устало; усталость замечалась в бессильно опущенных руках, в натужном, пристегивающемся, когда одна нога только подставляется к другой, шаге, в сильно оседающем при хромоте теле – больше всего он сейчас походил на подранка, который, не выдерживая погони, движется лишь по инерции. Теперь Андрей не сводил с него глаз. Отец приближался, и чем ближе он подходил, тем больше, забывая об осторожности, приподнимался, распрямлялся Андрей и, поднимаясь, словно обмирал, цепенел внутри, плохо видя и соображая. Чуть не дойдя до прясла, отец закашлялся и остановился. Кобыла сзади смотрела на него умными, понимающими глазами. Он кашлял долго, с хриплым надрывом, держась руками за грудь и отворачивая лицо в сторону, потом, успокоившись, поднял голову и посмотрел прямо перед собой на Андрея. Между ними едва было двадцать шагов. Андрей обмер. Задержи отец свой взгляд, он бы, наверное, не выдержал и вышел, но отец опустил глаза и потянул повод. Взгляд, направленный на Андрея, ослепил его, он не запомнил отцова лица, не заметил, как оно изменилось, он видел только, что это оно, отцово лицо с обвисшими седыми усами, и все; уж после, глядя в спину уходящему отцу, ему показалось, что в нем проснулось какое-то особенное, способное ухватить любую мелочь внимание. Но оно опоздало. Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Андрей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то окликнул отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить.

## 13

Он выбрался на дорогу и, не прячась и не торопясь, пошел по ней вверх. Куда? Он не представлял, просто двигался подальше от людей, подальше от того, что ему привелось сейчас пережить. Но он и не жалел, что побежал на конный, он не мог догадываться, что то, ради чего он побежал, тоже пойдет ему навстречу. Кто знает, не потому ли и побежал, не потому ли вообще переходил сегодня Ангару, что надеялся: а вдруг случится, вдруг невзначай сойдется так, как сошлось? Ясное дело, он рисковал, зато его душа, которую он чуть было не испек, не надорвал, теперь еще больше закалилась – ей пригодится.

Да что там! – он видел отца, родного отца, когда-нибудь это ему зачтется. Ему легче будет дальше жить: один долг он отдал. Он обязан был увидеть отца, существует же что-то такое, что передаст перед смертью отцу, что сегодняшним утром сын стоял перед ним, испрашивая прощения, – обязано что-то такое существовать. И отец простит. Как он его не заметил? – смотрел ведь прямо в глаза. А может, заметил, да не захотел признать и сделал вид, что смотрит в пустоту. Нет, не заметил. Иначе бы спросил. «Он-то бы спросил, а что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал, куда пошел? Под свой груз лучше никого не пристегивать, вези один. Настена вон помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настену потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настены? Врешь – без Настены тебе жизни нет. Настена тебе дышать дает и, может быть, далеко-далеко вперед, даже после твоей смерти».

Он не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой разошелся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу пришло в движение – пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, источаясь, из него торчала, как выросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не пробудившись окончательно, уж распрямлялись, отогревались, потяжно пошевеливались от собственных токов. Горчилю: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до нее, но наклонялись все ниже и ниже.

Гуськову следовало поторопиться, чтобы скорей уйти из деревни, но торопиться ему не хотелось, и он двигался вялым, потерянным шагом. Встреча с отцом не прошла бесследно: Андрея охватило безразличие. Куда, зачем он идет, что здесь ищет? Сидел бы лучше на своей стороне, сидел бы на своей стороне и не рыпался. Там он стал успокаиваться, привыкать к своему положению, а идти сюда с самого начала значило то же, что посыпать раны солью. Но нет, ему это надо, надо – потом будет легче. Нельзя по-настоящему почувствовать себя зверем, пока не увидишь, что существуют домашние животные, нельзя продолжать новую жизнь, не подобрав пуповину от старой, а она, пуповина эта, как ни скрывал он ее, болталась и мешала. Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих полей, – и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают. Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает наконец страданием, которое долго оттягивал, но которого, так или иначе, было не миновать.

Встреча с отцом, казалось, затаилась в нем и ждала лишь удобного момента, чтобы всколыхнуться и приняться за него с новой силой; он почувствовал, что отдал ей мало себя. Сейчас она стояла перед ним как сон, легко проскользнувший в память, но не улегшийся там, а словно бы вставший торчмя, мешающий теперь идти и думать. Он то и дело возвращался к ней, то замирая опять от удивления, что так близко видел отца, то вздрагивая запоздалым страхом, что отец мог его заметить, но возвращался осторожно, мельком, боясь расшевелить встречу

и пережить ее с гораздо большим страданием. Сегодня это ни к чему: он на чужой стороне. На чужой? Усмехнувшись, Гуськов согласился с собой: да, на чужой – здесь надо держать ухо востро, здесь нельзя поддаваться слабости, слишком дорого она может обойтись.

Почему-то ему вспомнилась немая Таня, у которой он прятался в Иркутске, вспомнилась без всякого случая, просто всплыло перед глазами ее лицо с шевелящимися, что-то спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. Взять бы ее с собой и умотать куда-нибудь на край света, где нет людей, разучиться там говорить, а в отместку в свое удовольствие измываться над Таней, а потом жалеть ее и снова измываться – она все стерпит и будет счастлива самой малостью. Забавные все-таки у немых лица: улыбаются, а глаза холодные, безучастные; губы шевелятся, а все остальное неподвижно и напряженно. Он-то, конечно, недостоин и Тани, но этот грех он бы на свою душу принял. Таня и без того обижена, а потому можно обижать ее дальше. «А доведись – зачем бы тебе ее обижать?» – спросил он себя. Затем что вина требует вины, пропадающая душа ищет пропасти поглубже. Он бы, наверно, не сумел иначе, ему постоянно нужны были бы подтверждения, доказательства, что он превратился в то, что есть. Так он чувствовал бы себя уверенней.

Гуськов вышел в поля и повернул вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день. В эту пору людям там делать нечего, наезд туда и в добрые-то годы не возили, а теперь, да еще по этой развезени, и подавно. Какие-нибудь беспокойные ноги тоже едва ли забредут: то, что нужно от леса, можно взять рядом с деревней. А если и забредут, ничего страшного – пусть боятся его, а он сегодня бояться не намерен. Близко, чтобы могли узнать, он к себе не подпустит, а издали пусть сколько угодно смотрят и гадают, кто это, – ему наплевать. Он имеет право пройтись тут хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было засеяно и сколько собрано. И в том, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга – там, в прежние годы. Он здесь не чужой – нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашелся и идет мимо, – поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их проносит течением слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для нее он чистый человек.

Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уж засочилось, засверкало, собрались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках (другой обуви у него не было, Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые, заброшенные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову. Они, казалось, выдавали его, не позволяли прикинуться своим; их запоздалость, нелепость и непригодность словно разделяли его с землей, по которой он шагал. Идти в валенках уже и теперь было трудно, а как он станет передвигаться через три-четыре часа, когда день распалится вовсю, он не представлял. Придется, видно, где-нибудь отсиживаться; на последней елани у ручья стоит зимовье – можно там. Нет, сегодня он, пожалуй, прятаться в зимовье не хочет – надоело, не для того он сюда шел. Тогда уж лучше разуться и шлепать босиком, но шлепать, разнести свой дух везде, куда достанет, – больше, может быть, не доведется.

Подступали воспоминания, которые наносило отовсюду – с полей, с межей, от старой корявой лиственницы, торчащей посреди пашни, от ключика, бьющего из-под ели в узеньком перелеске, даже от неба, своим, как нигде, рисунком возносящегося из-за лесов, но Гуськов, боясь воспоминаний, отказывался, отряхивался от них, и они, начинаясь, обрывались, опадали куда-то вниз. Им только поддайся, потом не отвяжешься. Что ему сейчас от воспоминаний, зачем эта попытка, если ничего изменить нельзя? Жаль, что память этого не понимает. Вот ведь как: на двоих, совершенно чужих друг другу людей досталась одна память, и никак ее невозможно поделить. Если б получилось умертвить, начисто забыть то, чем он жил раньше, было



бы намного легче, – да не получится: тот, прежний человек все еще существует и будет, подавленный и подневольный, существовать долго – никуда от него не денешься. И не знать ему, Гуськову, покоя, не видать освобождения, мыкаться ему и мыкаться до конца своих дней.

Он поймал себя на мысли, что, соглашаясь с этим, убеждая себя в этом, он наперекор всему продолжает на что-то надеяться: маленькая молчаливая надежда жила в нем в такой тайне, что он и сам не всегда мог распознать ее, но жила, дышала, изредка он слышал ее опасливое, осторожное шевеленье. Но надеяться не на что, не на что совсем – никакое чудо не грянет. Похоже, впервые перед Гуськовым так близко встала вся голая правда его положения, без жалости и оговорок, – казалось, он почувствовал ее физически, словно она, пронзив, прошла сквозь него от начала и до конца; от холода ее он содрогнулся. Что ее вызвало, он не знал. Не раньше и не позже, именно сейчас, когда он поднялся в родные, прикипевшие к сердцу места, – уж не они ли приговорили? Гуськов покосился вокруг и, одернув себя, жестко, зло усмехнулся: жди, через минуту прилетит птичка и человеческим языком признается – они. Гуськов бодрился, но что-то в нем подготавливалось, нарастало, что-то непонятное и неприятное, шаг его сделался сбивчивым, хоть он и торопился и старался идти широко, дыхание тоже запрыгало и зачастило. «Птичка... – подхватила неожиданная мысль. – Я сам тут жил как птичка небесная. Что еще надо было? Что?»

После этого его сорвало со всех замков, со всех запоров и запретов и понесло. Остановить, успокоить себя он уже был не в силах.

«Если б не война, если бы не она, проклятая, – оправдывался он, – так бы и жил я, так бы и работал. Какие мои годы: тридцать лет – полжизни еще не заступило. Полжизни не заступило, а уж все, конец. Да почему ж на меня-то? – столько народу в мире... Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной, – чем? – Он застонал и стал искать, где присесть, ноги отказывали ему. Впереди валялся возле дороги грязный и мокрый чурбан, на него он и опустился. – Так бы и жил не хуже других, – хватался он за подвернувшуюся мысль, – работал бы, ты же хороший был работник – все знают. Шел бы сейчас тут по какой-нибудь надобности... вот так же и шел, вот так же сел и посидел бы, покурил, а потом управился с делом – и обратно в деревню... – Настолько близкой и вероятной почудилась ему эта возможность, что он, оцепенев и потеряв себя, потянулся искать, не так ли оно и обернулось в действительности, не пора ли ему справиться то, зачем он сюда пришел, и возвращаться в деревню. Нет, мир не перевернулся, все осталось на своих местах. Это было не пробуждение от сладкого сна, а одно из многих и многих, происходящих каждый день подтверждений его самого, того, что с ним случилось, но сейчас оно показалось ему особенно горьким и страшным, вся его с трудом налаженная оборона вмиг куда-то пропала, он был беззащитен; противная мягкая слабость охватила его, он не мог даже на себя прикрикнуть и почему-то был доволен этой слабостью, тем, что не в состоянии с ней справиться. – Это все война, все она, – снова принимался он оправдываться и заклинать. – Мало ей убитых, покалеченных, ей еще понадобились такие, как я. Откуда она свалилась? – на всех сразу! – страшная, страшная кара. И меня, меня туда же, в это пекло, – и не на месяц, не на два – на годы. Где было взяться мочи, чтобы выносить ее дальше? Сколько мог, я дюжил, я ж не сразу, я принес свою пользу. Почему меня надо равнять с другими, с заклятыми, кто с вреда начал и вредом же кончил? Почему нам уготовано одинаковое наказание? Им даже легче, у них хоть душа не мается, а тут когда она еще свернется, станет бесчувственной... Вот вышел сюда, а она уже готовенькая, уж раскисла – слабая... Я ж не власовец какой-нибудь, что против своих двинулся, я от смерти отступил. Неужто не зачтется? От смерти отступил, – повторил он, обрадовавшись удачному слову, и вдруг восхитился: – Такая война! – а я утекнул. Это ж уметь надо – черт возьми!»

И, подняв лицо, глядя куда-то поверх полей, которые миновал, он засмеялся – вызывающе и громко.

Он еще немало сидел, нашептывая вокруг все то же, и так же, поддаваясь моментами слабости, обмирая от казнящей боли, когда хотелось по-собачьи скулить, он, отмучившись, оправившись от нее, принимался издеваться над собой, разыгрывая каким-то отчаянным, нездоровым, едким весельем, пока снова не накатывало и не окунало его в свою глубь.

Потом он решил, что вся эта пытка происходит от неподвижности, оттого, что он ничем не занят, и поднялся, а чурбан, на котором он сидел, выкатил на дорогу – кому-то придется убирать. Оглядевшись вокруг, Гуськов двинулся дальше; на душе у него было стыло, муторно, но быстрый шаг и в самом деле не давал подхватиться мысли, она отставала.

Утро полностью разгорелось, потекли ручьи, пока еще безголосые и натужные; над полями с подгорной стороны заструился, волнуясь, воздух, лес за ним выбелило солнцем в одну клубящуюся полосу. Из деревни доносились праздничные, торжествующие крики выпущенных на волю петухов; колюче, занозисто каркала в полете ворона; путался, не направляясь, слабый земляной ветерок. Гуськову саднило лицо не от ветерка, а от солнца, ветерок же лишь натягивал и опять отпускал воздух, принимаясь за него то с одного, то с другого конца. На гумне у зимовья галдели в мякине грязные, лохматые воробьи; два диких голубя, когда Гуськов подходил, снялись с кормежки и со свистом пронеслись мимо.

Гуськов остановился у гумна и стал наблюдать за воробьями – в Андреевском, далеко от людей, их не было. Он спросил себя, сколько лет живет воробей, прикидывая, нет ли в этой голодной суматошной стае птиц, которые летали здесь еще при нем. Но он не знал воробьиного веку, раньше такие пустяки его не занимали, и от этого к нему опять подступила досада. Вспугнув воробьев, он подошел к зимовью, с трудом оторвал приросшую за зиму дверь. В зимовье было холодно и пусто; Гуськов искал, нельзя ли чем поживиться, и, ничего не найдя, вышел обратно. Его что-то томило, хотелось не то есть, не то спать – он не мог разобраться. Еды он с собой немного взял, но ее следовало приберечь на более поздний час. Почему-то он надеялся, что достанет здесь что-нибудь из съестного, хотя доставать было совершенно негде: не в деревню же идти просить, а помимо деревни в эту пору ничего не растет, не хранится.

Он долго топтался, не зная, за что приняться, затем, как бы пробуя, прикидывая, куда себя пристроить, завернул за зимовье, под солнце с горы, сел там на бревешко и прислонился к стене. Когда-то, после голодного 33-го года, он раздирал эту елань, перед ним как раз лежало поле в два с половиной гектара, которое он пахал. Боязливо, опасаясь ненужных воспоминаний, Гуськов глянул на него, уже почерневшее с нижнего края, с торчащей стерней, но поле, напротив, казалось, приветило, утешило его: пригревшись, расслабившись под солнцем, Гуськов действительно задремал. Время от времени тяжелые глаза его размыкались; только они одни, не тревожа больше ничего, привычно следили, не появилось ли где постороннее пятно. Все было спокойно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.